

ТЮМЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕТРАДЬ

Составитель Леонид Иванов



Книга в журнале

СОДЕРЖАНИЕ

Павел Кренёв. Тюменский боевой отряд (предисловие)	7
Антонина Маркова. День ветра	10
Анатолий Кондауров. Плеск куимских негдымов	12
Андрей Маркиянов. Предначертание	16
Аркадий Захаров. П.П. Ершов — источники вдохновения	31
Владимир Шугля. Под сердца сенью	35
Василий Полушкин. Опальные батьки	37
Виталий Огородников. В сумке	41
Вячеслав Софронов. Из цикла «Щепа и судьба»	49
Дмитрий Сергеев. Музыка летней ночи	61
Леонид Иванов. Портрет по памяти	64
Елена Русанова. «О, не позабудьте, что надо беречь красоту!»	73
Станислав Ломакин. Четырёхсотлетняя сибирская сага о Томске	76

Павел Кренёв

Тюменский боевой отряд

Произведения, вошедшие «Тюменскую литературную тетрадь», настолько разнятся по темам и жанрам, что я решил хотя бы кратко остановиться на каждом из них и испытал приятное удивление: общий уровень стихов и прозы этих авторов довольно высок — самобытные тюменские литераторы достойно несут творческую вахту на сибирских российских просторах.

С первых же строк поэтического цикла «День ветра» **Антонины Марковой** радуешься их добротности и профессиональности. И это первоначальное впечатление в дальнейшем оправдывается: «Вагонное окно лизнул тайком // Осенний дождь длинноволосый, тощий, // А вдалеке по полю босиком / Бежит вдогон берёзовая роща».

Анатолий Кондауров представлен рассказом «Плеск куимских негдымов». На первый взгляд — незатейливая картинка летнего деревенского сенокоса с участием сельской детворы, с разнотравьем, ароматами лесного луга, детскими разговорами и впечатлениями... Но потом мы осознаём: это картина тяжелейшей драмы военного времени, в которой дети спасают страну, ведут свою войну на трудовом фронте, не менее физически тяжёлом, чем война с танками и пушками.

Рассказ **Андрея Маркиянова** «Предназначение» написан в хемингуэвской манере. Трагический и светлый. Без пространных описаний природы (что не всегда украшает литературные произведения), но самодостаточный и цельный. От таких произведений долго ощущаешь послевкусие чего-то добротного, настоящего. Например, хорошего коньяка или же тонкого аромата благородной сигары. Хотя сигар в рассказе нет и в помине. А вот аромат остался. Удивительно! Это свойство хорошей прозы.

Иван Разбойников (псевдоним **Аркадия Захарова**) в литературоведческом эссе «П. П. Ершов — источники вдохновения» пытается разобраться в исторических хитросплетениях, связанных с созданием знаменитого «Конька-горбунка»: некоторые исследователи считают — первые четыре строфы этой сказки написаны А. С. Пушкиным, а не П. П. Ершовым. Другие историки литературы утверждают — сюжет придуман также не Ершовым, а сказителем из села Плехановского Дмитрием Плехановым. Многие исследователи до сих пор убеждены: «Конёк — горбунок» создан на основе многих русских сказок, его сюжет — это переработка русского народного фольклора. Что ж, точка во всей этой истории ещё не поставлена.

Поэзия **Владимира Шугли**, на мой взгляд, основательна и крепка добротным русским словом. Похоже, надёжен и основателен и сам поэт: «И надо ж такому случиться, // С высот осторожно кружа, // Спустилась, как синяя птица // Мне на руки чья-то душа».

Поэт **Василий Полушкин** — по профессии врач, в философских стихах затрагивает серьёзные проблемы и стремится в них разобраться: ведёт разговор о Боге, о вере и неверии, о природе, о Женщине: «Если вдруг я устану лечить человеческий род, // От планёрок, стандартов и жалоб уйду утомлённо, // То начну исцелять от людей мхи сибирских болот, // И от мусорных куч — ручейки на берёзовых склонах».

Все участники «Тюменской тетради» — люди с большим житейским опытом, каждый в своей области. **Виталий Огородников** — геодезист с 40-летним стажем — «пропахал» с научными экспедициями всю Россию, всю Среднюю Азию, многие другие районы Советского Союза. Но круг его интересов на этом не заканчивается. Он увлекается живописью, музыкой, велосипедным спортом, путешествиями... И, конечно, литературой. Он умеет увлечь читателей простыми житейскими проблемами, неординарностью характеров персонажей и ситуаций. Эти, на первый взгляд, незамысловатые истории читать почему-то всегда интересно. А значит, их автор — хороший писатель.

Вячеслав Сафронов — человек сложной судьбы, «сын репрессированных и правнук ссыльных». Что поделаешь, в отечественной истории немало людей, оскорблённых властью. Однако Сафронов — человек, безусловно, мужественный, с сильным характером, достигший немалых высот на педагогическом и научном поприще, открытый. Он не хранит в душе обиды на своё государство, в самом деле незаслуженно обидевшего многих и многих людей, в том числе и Вячеслава Сафронова и его семью.

Дмитрий Сергеев сторонится отвлечённых изысков, зато понятен и близок всем читателям. В круг интересов пронизательного писателя попали самые разные люди, общественные и государственные явления и события, исторические факты. Здесь и лирико-эпическое повествование о неверных друзьях, о ястребе, которого гоняет на небе стая ворон, философские размышления о зря прожитой жизни, о развалинах Карфагена... Поэту всё интересно. И нам вместе с ним интересно тоже.

Знаменитый на Тюменщине и, наверняка, многими любимый в России сибирский писатель **Леонид Иванов** выступил с замечательным рассказом «Портрет по памяти». Люблю созданные им метафоричные, всегда насыщенные глубоким смыслом длинные и короткие литературные формы. Эта новелла, на мой взгляд, выходит за рамки привычной для наших читателей манеры создания современных рассказов, приятно удивляя точными оценками человеческих характеров, способностью несколькими штрихами показать глубину человеческого благородства и низость мелких душ. Читая произведение, всегда сопереживаешь героям: хочется счастливого окончания. На этот раз, ко всеобщей радости, так и произошло: уставшие от свалившихся на них несчастий, герои находят друг друга. И мы радуемся вместе с ними.

Стихотворная строка **Елены Русановой** солнечна. Её поэзия верна России, освещает разные её уголки. Степь, луга, леса, реки, люди, населяющие её... Боль за всё живое на планете. Поэтесса воспеваёт родную природу, тревожась за её будущее: «Когда окружает Природа, // Когда чудодействует степь, // Хранить бы её род от рода, // Чего ещё, друг мой, хотеть?» А вот эти строки о конечности жизни любого из нас не могут не вызвать печаль у читателей: «Мы скоро уйдём, оставляем вам эту планету, // Она как весна, как черёмуха в нежном цвету, // Она и в крови, и страницу не вычеркнуть эту, // О, не забудьте, что надо беречь красоту!».

В Тюменской литературной тетради представлен и жанр рецензии. Это «Четырёхсотлетняя сибирская сага о Томске» **Станислава Ломакина**. Посвящена она творчеству известного в Сибири общественного деятеля, почётного гражданина Томска Сергея Заплавного и его супруге Тамаре Калёновой, также видному учёному.

Авангардизм в литературе, искусстве, в любом творчестве бессмертен, оправдывая свой дословный перевод: «впереди идущий, развивающийся». Новизна, эксперимент не дают искусству останавливаться, требуют движения вперёд. Литературный авангард как в прозе, так и поэзии несёт гигантский позитивный энергетический заряд. Не будет эксперимента — захиреет любое литературное сообщество. Тюменская литературная тетрадь позволит читателем познакомиться и с прозой одного из видных тюменских мастеров слова **Анатолия Омельчука**.

Когда на фоне привычных описаний природы или картин обыкновенной жизни людей сталкиваешься с прозой Омельчука, невольно вздрагиваешь. И перед тобой открывается новый мир. У меня получилось так, когда я прочитал несколько новелл этого автора. Совершенно новый, неожиданный подход к созданию литературного текста. Неполные, недоговорённые, незаконченные фразы... Прослеживается установка автора на поиск слов, в которых краткость изложения с лихвой компенсируется великолепием содержания, избытком смысла. От этого текст только выигрывает. Мне нравится такой. Пожелаю автору и в дальнейшем совершенствовать и развивать своё творчество в этом оригинальном ключе.

«Тюменская литературная тетрадь» открывает всероссийскому любителю литературы новые для него имена, вполне заслуживающие внимания. Хочется верить, что у читателей «Литературных знакомств» появится желание найти в интернете другие произведения этих авторов. Кстати, их можно почитать и в журнале «Врата Сибири», возглавляемом руководителем Тюменского отделения Союза писателей России Леонидом Ивановым.



ДЕНЬ ВЕТРА

* * *

Вагонное окно лизнул тайком
Осенний дождь, длинноволосый,
тощий...

А вдалеке по полю босиком
Бежит вдогон молоденькая роща.

Стучат упруго ходики колёс,
Торопятся сентябрьские пейзажи,
Горят огнём осины средь берёз,
Чернеет свежеспаханная пажить.

Вскипает мокрым золотом листва,
Рябины в алых брызгах утопают,
И смяты трав глубоких кружева
И вдоль дороги старятся по краю.

Попутный дождь опять
прильнул к стеклу
И потушил цветные акварели.
И обгоняют поезд, и к теплу
Уносят птицы летние свирели.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

У старой вербы серебристый лист
В ладонях задрожал шероховатых.
Меха тугие туч замысловатых
Растягивает ветер-гармонист.

Мелодии весенней колесо
Вращают в небе молодые грозы.
И взявшиеся за руки берёзы
Качаются. Их танец — невесом...

И сосен запечённые стволы
Отозвались на солнце
горьким мёдом
И тоже встали дружным хороводом,
Побегами смолистыми светлы.

Всё в мире на весну обречено,
Подвластно свету, таинству,
движенью,
Сверья со своим сердцебиеньем
Вселенское живое полотно.

Маркова Антонина Юрьевна (1959 г.р.) — поэт, член Союза писателей России, уроженка Иркутской области, живёт в Тюмени с 1977 года, по образованию — филолог, закончила Тюменский государственный университет, работает библиотекарем в Литературно-краеведческом центре. Автор 5 книг. Более 20 лет руководит детской студией «Вершок», один из кураторов культурно-просветительского проекта «Литературный лицей».

НИКОЛЬСКАЯ

Над улицей Никольской — облака
По-августовски чинно-величавы.
И звоны колокольни златоголовой
Отсчитывают медленно века.

А по ночам, лишь ляжет тишина,
Покажется далёким
отголоском —

Опять летит ямщицкая повозка,
И песня колокольчика слышна...
Сменяются сезоны за окном,
Но неизменен здесь
по-стариковски
Издrevний особняк —
он на Никольской

Соседствует с высоткой за углом.

А меж домов — течение времён
Несёт опавший лист по тротуару.
И улицы старинной, но не старой,
Свет памяти нетленной вознесён.

ДЕНЬ ВЕТРА

День Ветра сегодня. Он вышел
Утюжить озябшие крыши
И белую пудру сдувать.
Взмывают простые обновки
Морозным бельём на верёвке
И ниц упадают опять.

С обочины скользкой тропинки
Ручьями стекают снежинки
За Ветром холодным вослед.
И он из песка голубого
Мостков налепил стопудовых —
И ходу для пешего нет!

Над каждым заснеженным местом,
Как над головою невесты,
Туманится тонко вуаль.
Звенят ледяные коклюшки,
И в воздухе вьёт завитушки
В День Ветра волшебник-фонарь.

* * *

Лес наполнен зрелой тишиной.
Лист неслышно падает и сонно.
Тонкий свет живую пеленой
Меж деревьев дышит невесомо.

Вот сорвался жёлтый мотылёк
И летит, раскачивая воздух.
Вспыхнувший багряный уголёк
Плавит кроны золотистым воском.

С восхищеньем смешана печаль
В яркости осеннего букета...
И молчат, предательски молчат
Эти дни о невозврате лета...

* * *

Осенних луж цветные витражи
Птиц перелётных тени провожают,
Осколки небосвода отражают,
Деревьев золотые этажи.

Дождь мокнет рыжей шторой
за окном,
А в нём чернильным росчерком —
рябины,

И сентября смешные именины
В кленовом измерении, в ином,

Где время тихо изменило шаг,
Срываясь в никуда сырой монеткой,
Где настезь день.

И среди домов нередко
Уже скользит украдкой сквозняк.



ПЛЕСК КУИМСКИХ НЕГДЫМОВ

Куим — крохотное селенье, запропастившееся в пойменных урманах Большого Демьяна — так почтительно величают инородцы реку Демьянку, что, покрутившись несчётными зигзагами не одну сотню вёрст, вливается в Иртыш. Не до лучины. В быстро светлеющих предутренних сумерках Парасковья снуёт по дому. Чуть стукнет ухват о кирпичный под, да тихонько сбрыкает алюминиевая чашка. Родьку, разбуженного задолго до света, покачивало. Наброшенная на плечи отцовская куфайка свисала до пола.

— Пушай привыкат, — сказал отец, подтолкнув сына к двери.

— Вот, не забудь, — Парасковья протянула мужу холщовый мешок со снedyю. Родьке было плохо: во дворе — сумрачно и зябко, он хотел спать и собрался было захныкать, как отец, взяв его в охапку, уложил в фургон. Повозку трясло на ухабах; в ушах жёстко шелестела солома; отфыркивался конь, громко и недовольно.

— Но-о! Но-о! — понукал отец, шлёпая вожжами по лошадиному крупу. Он вдруг запел грустно и протяжно. Родьке запомнилось что-то вроде: «Ехал с девушкой трактом почтовым... попросила она, чтоб я песенку спел... я запел, а она зарыдала...» Родьку убаюкивало: он освоился и с постелью, и с разными звуками и не слышал, как повозка остановилась, и отец переложил его в балаган. Он сильно испугался, когда высунулся из припорошённой сеном дыры: небо было красным-красно, где-то орали вороны, и он был один.

— Тятя! Тятя! — жалобно позвал он.

Кондауров Анатолий Алексеевич (1941 г.р., село Чистоозерное Новосибирской области) — жил в Новосибирске, Средней Азии, Красноярском крае. По образованию — юрист. Служил в уголовном розыске, начальником Пуровского и Тобольского ОВД Тюменской области. Далее — адвокатура. 17 лет был штатным охотником-промысловиком, жил в глухой тайге. Попутно стал палеонтологом (владелец коллекции палеонтологического материала мамонтовой фауны, более 500 экз.), фотографом (3 персональных выставки). Автор книг «охотничьей» прозы, поэтического сборника. Тексты публиковались в газетах, журналах «Уральский следопыт», «Врата Сибири», «Огни Кузбасса», «Град Тобольск», «Охота и охотничье хозяйство», «Тюменская область сегодня», «Александръ». Живёт в Тобольске Тюменской области.

— А-а, проснулся, помощник! — сразу откликнулся отец, возникший в балаганном проёме с литовкой в руках. Родьке стало стыдно за свой испуг. Завидев рассевшееся на кочуге вороньё, он спросил:

— Тять, а можно их, ворóнов, поймать?

— Да чего же нельзя: подкрадись тихонько и насыпь им соли на хвост!

Родя старался. Зажатая в кулачке соль таяла. Ворóны, завидя ползущего к ним ребёнка, орали громче прежнего, снимались с насиженных мест и, сбившись в стаю, улетали вдаль. Родя, задрав голову, побежал было за ними, да упал, угодив в ямину.

— Ничего, — успокоил отец. — Получится в другой раз. Только ты, Родион, больше под ноги, на землю смотри, чем на небо...

И ещё крепко и надолго Роде запомнился вкус холодного молока из берестяного теска с куском подового пшеничного хлеба и как отец приговаривал: «Коси, коса, пока роса. Роса долой — и мы домой». Для Родиона ворошить траву — как игра. Он, орудуя маленькими грабельками, прыгал от валка к валку; озоруя, взбрыкивал, как жеребёнок. А работе не было конца. Родя, нарезвившись, начинал уставать. Погонявшись за кузнечиками, он ложился на землю, на щекотавшую окось. Куда ни оборотись: травяные валки застывшими муравчатými волнами разбегались по лугу от края до края.

Травостой год от года менял своё обличье: луг то затягивало кипенным лабазником, то вдруг осыпало солнцеликими одуванчиками, то сквозь метляк и зубровку пробивалась лилейными пуговками ромашка.

— Ро-о-дя! Ро-о-дя! — пулей мчалась рыжеволосая Варька, только колени сверкали.

— Ро-дя! Бежим скорей! Там с реки бударка татакает — нас в школу будут забирать!

Родя, поддавшись панике, едва успевал за скорой на ногу Варькой. Коровья тропа обрывалась у логотины, дальше паутинками расплзалась в разные стороны. Едва отдышавшись, Родя опомнился:

— Ты sdурела? До школы целый месяц, куда нас?..

— А я сей год в школу не пойду — мне мамке помогать надо. И ты не ходи, — назидательно добавила рыжая. — Кто управляться будет?

Они валялись на примятой траве.

— Фу! — сказала Варька. — Я ногой в коровье говно залезла!

— Пошли на лыву, скупнёмся! — предложил Родя. — Там, за лывой, ручей есть. Я тебе негдымов покажу — они в осоках плескаются.

— Ка-аво? — растягивая и так большой рот, не поняла Варька.

— Тебе вру, что ли? Мне тятя давно показывал. Я тогда на покосах ишшо хотел солью ворóнов поймать.

— Ка-аво? — опять удивилась Варька. — Родя, ты пошто такой-то? Солью, Родя, рыбу осаливают, а не ворóнов.

По пути Варька сломила перестойную ветку кипрея: сверху — уже пух,

только пониже на стебельке остались фиолетовые цветочки. Она пушком щекотала себе нос до тех пор, пока не расчихалась.

— Тихо, — сказал Родя. — Распугаешь.

Они склонились над водой и стали ждать.

— И чё? — не выдержала Варька.

— Да вот же они!

Из желтоватой глужи и взаправду лениво всплыла наверх стайка рыб — серых, толстоспинных.

— Я знаю, кто они, — прошептала Варька. — Это же сорожни¹.

— Не-е, сорожни другие. Они, как лапотки, — широкопящие, и глаза и перья у них, сорожней, красные. Это точно негдымы. Жирнющие! Они в покосное время идут в верховые соры², там и зимуют — тятя сказывал.

— Тятя, тятя! — разозлилась отчего-то Варька, шлёпнула веткой по воде, и она шумно вскипела разом, словно взорвалась.

— Ах! — испугалась Варька, вскакивая.

— Ну вот, — обиделся Родя. — Теперь они спрячутся...

Лыва — заросшая старица — вся в осочных берегах, только в одном местечке — чистая отмельюшка. Варька, стянув через голову платье, первая — шлёп в воду и забарахталась. Родя задержался, возясь с портками, и... шлёп! Накупавшись, они вылезли на берег и, подстелив домотканую одежонку, улеглись: Родя, смущаясь, — на живот, беззастенчивая Варька — на спину. Полуденное солнце жарило вовсю. Нагретый воздух, густо настоящий на прибрежных травах и застойной воде, дымным маревом колыхался над старичным тюпиком³.

Не разлепляя глаз, Родя словил паута, усевшегося ему на ухо.

— Щас я тебя самолётиком сделаю, — пообещал он насекомому. Проколот брюшко тонкой соломинкой и, как только паут зажужжал во всю мощь, — отпустил.

— Во-о, вишь, полетел! — ликовал Родя.

— Ну вот... Надо было желание загадать, — встряла Варька.

— Како ещё?

— Родя, а когда мы вырастем, ты меня не бросишь?

Родион что-то буркнул в ответ, но Варька поняла по-своему:

— Смотри, Родя, ты слово дал!.. Родя, Родя, а у тебя на жопе родя, — зазорничала Варька, тыча вицей в ягодицу.

— А ты... — разозлился он. — Ты маленькая, а сиськи большие!

— Где? Где?

— Вот! — Родя вырвал из её руки прутик и ткнул в набухшие соски. — Будут такие, как у нашей Зорьки вымя!

— Дурак ты, Родя. Дурак и не лечишься...

¹ Сорожни — местн. сорога.

² Сора — озёра.

³ Тюпик — оконечность озера.

Они поссорились. Родя схватил одежду в охапку и убежал, сверкая голой задницей.

— Дурак! Дурак! — визгливо кричала вслед Варька. Перед домами, пока Родя суетливо одевался, обжигаясь о крапиву, Варька догнала его.

— Ладно, Родя, не скись... Пойдём у тунгуса сухую рыбу стащим, а? Слышь, он на берегу осиновку¹ долбит, на-то и не увидит.

— Нет, — твёрдо отрезал Родя. — Негодно так. От чужого болести будут. Пошли лучше малину почавкаем!

Малина давно «убежала» через городьбу — разрослась аж до берега. Беспре-
станно хохоча, они нагибали ветки; ягоды — горстями — в рот, до оскомины.

— Варька! Ты где носишься? А ну — домой!

Они притихли, затаившись, но тут же разбежались. Родя оказался прав: никто и не собирался забирать их в школу. Из дома вышли лумкоевские: высокий худой мужик из правления колхоза (он казался ещё выше от восседающей на макушке выцветшей фуражки с околышем), следом — придурочный Липитяй и обеспокоенная мать с мешком, набитым овечьей шерстью. Высокий тащил под мышкой свиную шкуру, перевязанную саргой², а другой рукой пытался застегнуть кожаный офицерский планшет.

У Липитяя были два берестяных туеса.

— Мам, что у него? — спросил, набычившись, Родя.

— Яйца, Родя. Это ж положено так — налог на курочек.

— Яйко, яйцо, — заgrimасничал Липитяй, размахивая туесами.

— Смотри у меня! — хрипло сказал мужик. — Разобьёшь — я те отдубасю!

— Басю-басю — отдубасю, — согласился юродивый.

Наконец, высокий справился с сумкой. Увидел Родю и сказал:

— А, так вот он каков, пострелец твой. На отца смахиват.

На ходу поймал Родю длинными пальцами за макушку, больно крутанул. Родя подсел, вырвался из хватки, отпрыгнул вбок.

— Не трожь! — выкрикнул громко и зло.

— С норовом. Гляди-ка... В отца. Тот тоже всё дичился, колхоз ему нипочём, тайгу ему подавай. И чё? Щас всех на фронт прибрали...

Мать пошла провожать непрошенных гостей на берег. Родя, оставшись дома, рассматривал бумагу на столе.

— Чево им надо от нас? — спросил, когда мать вернулась.

— Чё хорошего! Налоги на нас привезли. И на тебя, и на Варьку план дали — сено ставить по сорок центнеров каждому. Вот ведро бы постояло!..

В сенях зашуршало.

— Заходи, заходи, Лукьяновна. Здесь мы, дома, — засуетилась мать. — Родя, поди загони корову, да иди к Варьке, забор поправь — ихний бык забесился, всё там изнахратил. А мы тут с Лукерьей покалякаем, что да как.

Родя нашёл Варьку в стайке. Шмыгая носом, широко расставив ноги, она

¹ Осиновка — лодка из цельного ствола дерева.

² Сарга — годовой слой древесины, содранный в длину прута.

сидела под коровой. Струи молока звонко били в подойник.

— Родя, чё делать? Моя мамка хочет к зиме в Урматку съехать. Жалко её — болеет и болеет, а там сестра ейная... А папки наши — я знаю — уже не возвратятся...

И Варька разревелась громко, некрасиво. Корова занервничала, ударила ногой по ведру. Родя, изображая взрослого, положил руки на Варькины плечи, задумался, намереваясь сказать важное, главное, но сказал другое:

— Варь, давай завтра убежим на лыву, к негдымам. Я с травинки силку сделаю и тебе их насмыгаю. Хочешь?

Варька ревела всё тише, согласно кивала головой — хлюпающий нос мешал ей говорить.

Андрей Маркиянов



ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ

В тот поздний дождливый вечер, едва я вышел на улицу, раскрыл зонт и остановился под фонарём прикурить, как услышал знакомый голос. Я обернулся. Это был мой старый знакомый, актёр театра Царегородцев, человек высокого роста с породистым бледным лицом и тронутыми сединой волосами, которые он неизменно носил в виде конского хвоста, перетягивая на затылке шнурком. На голове его глубоко сидела чёрная шляпа с широкими полями, а воротник и полы чёрного пальто тонко искрились бисером водяной пыли. Мы пожали друг другу руки, он наклонился ко мне под зонт и пробормотал с досадой и горечью:

— Чёрт! Вот чёрт, когда же он кончится. Ненавижу.

Мы не виделись месяца три, поэтому тут же направились на Монастыр-

Маркиянов Андрей Александрович родился в Тюмени. Образование среднее. Стихи пишет с 12 лет, прозу — со времени прохождения военной службы. Стихи и рассказы публиковались в журналах: «Сибирские огни», «Сибирское богатство», «Врата Сибири», в коллективном сборнике — «Времена, в которые верю», в Австралии — русскоязычном литературно-художественном журнале «Жемчужина» (Брисбэн). Автор книги стихов и прозы «Ожидание близких снегов» (2008).

скую площадь и, спустя полчаса, сидели в полумраке пустого частного бара, пили молдавский «Херес» и вели тот пустой разговор, что сопутствует людям, не обременённым отсутствием времени. За узкими окнами, стуча по карнизу, ровно сыпал октябрьский дождь, блестели чёрным стеклом тротуары, а здесь, в этом маленьком баре бесшумно гнали тепло калориферы, вращал под потолком блестящие лопасти вентилятор, и беременная хозяйка с размытым жёлтым лицом, облокотившись на стойку, потягивала из банки безалкогольное пиво. До закрытия оставалось немногим более часа.

— Не взять ли нам чего-нибудь покрепче, — сказал со вздохом Царегородцев. — Грустно, что-то. Слышишь, как стучит этот мерзкий дождь? Так и хочется надраться как следует. Да я и надерусь, если ты составишь компанию... Нет, нет, не возражай, — добавил он, поднимая руки. — Выпьем немного и поедем ко мне. Познакомлю с моей юной подружкой, посидим, как положено. Тем более — ты мне обязан за тот сюжет с однорукой сутенершей, помнишь?

— Такое не забывается, — ответил я. — Значит, с подружкой. А кто она такая, откуда? Давай-ка, выкладывай.

— Кажется из Тулы, точно не помню. Познакомились на концерте «Диксиленда» в антракте, примерно месяц назад. Оказалось — учится в Театральном. В общем, теперь она у меня, — продолжал он, сдвигая брови. — И всё вроде бы чудесно, если не считать, что иногда утомляет необузданным темпераментом. И какой-то бесстыжей наивностью, что ли, которую путает с непосредственностью.

— Ну, таких полно в её возрасте, — возразил я, закуривая, — это нормально. Можно ещё добавить, что она противоречива в суждениях и непоследовательна в поступках. А если в компании начинает восхищаться снобами, ты от неловкости не знаешь, куда глаза девать.

— Хм, — произнёс Царегородцев. — Пожалуй, ты прав. Но это не важно. Главное, что мы встретились и поедем ко мне.

Я улыбнулся, что оставалось делать? Впрочем, всё к тому и шло. В кармане моего плаща лежала приличная сумма, полученная от издателей столичного журнала, и я решил, что настала пора вкусить московских щедрот в обществе старого друга.

— Итак, пойду — возьму всё, что нужно, — сказал Царегородцев, потирая руки. — А ты посиди, покури. Поверишь, я два месяца не наливался ничем, кроме пива. Теперь вот печень, что-то не пойму, да и вообще последнее время я не в своей тарелке. Пить с кем попало не могу, а в одиночестве не умею. Ну, да что тут объяснять, ты ведь знаешь мои замашки.

И он поднялся, и достал из кармана плотный, коричневой кожи бумажник. Пришлось сообщить ему, что подаренная мне «сутенерша» благополучно поселилась на страницах журнала, и я обязан исполнить свой долг, который, как известно, платежом красен. Тогда он сдался и великодушно позволил мне оплатить заказ. Мы выпили по две рюмки замороженной водки,

закусывая осетриной с зеленью, и наливали по третьей, когда входная дверь открылась и на порог ступили новые посетители: молодая женщина с непокрытой головой и девочка лет шести, одетая во всё белое: комбинезон, берет и ботиночки. А женщина.... Она рассеяно оглядела зал, убрала на затылок влажные волосы и, на секунду закрыв глаза, глубоко вздохнула и решительно направилась к стойке. Её светлый плащ с поднятым воротником и узким поясом, стянутым в талии, местами потемнел от дождя и при каждом шаге складками собирался на бёдрах, низкие светлые боты оставляли на паркете следы. Они расположились напротив нас у окна под светильником, и я хорошо видел их лица и стол, на котором вскоре появился заказ: плоская бутылка водки, бутерброды с красной икрой, две банки «колы» и плитка шоколада в золотистой обёртке. Этот шоколад и банку «колы» женщина пододвинула девочке, и та принялась разворачивать и распечатывать, а затем сдержанно пить и есть, глядя в окно и не произнося не единого слова. Молчала и мать. Она свинтила с бутылки пробку, точным движением налила половину бокала, но когда подносила его к губам, я заметил, что рука её дрожит, а правое веко подёргивается. Я оглядел её внимательней. Это была женщина лет тридцати, русоволосая, с высоким лбом и тонкими чертами бледного лица, холодную красоту которого ничуть не портили усталый взгляд и отсутствие макияжа. Мы снова выпили, закусили, и тут хозяйка проговорила со странной задумчивостью во взгляде.

— Какой воспитанный и милый ребёнок....

Потом достала из холодильника стаканчик мороженого и, протягивая его через стойку, добавила, возвышая голос:

— Иди сюда, милая... возьми-ка вот, скушай.

Девочка обернулась на голос и слезла со стула. Глаза её, большие синие и серьёзные, вопросительно обратились на мать.

— Вернись на место, — сказала спокойно женщина, и дочь послушно повиновалась. — И никогда ничего не смей брать у чужих. Если нужно, скажи — я куплю.

Девочка вздохнула и снова отвернулась к окну, подпёрла кулачком щёку. Но тут, задевая за живое, не выдержала, вмешалась хозяйка:

— Послушайте, ну зачем вы так... Я ведь от чистого сердца!

— От чистого сердца подайте нищим на паперти, — сказала женщина. — А мы как-нибудь обойдёмся, правда, Настенька? — И она опять налила, выпила, а после закурила длинную сигарету и отёрла ладонью лоб. Царегородцев налил в рюмки и наклонился ко мне.

— Совсем нехорошо, сейчас она станет пьяненькая, — заметил он тихо. — Я за малышку беспокоюсь. Всё-таки ночь — всякое может случиться. Может, вызвать такси, проводить?

— Пожалуй. Только вот не знаю, согласится ли, ты же слышал, как она оттянула барменшу.

И я косил глаза на хозяйку, с мрачным видом перетиравшую на разносе стаканы. Царегородцев поёрзал на стуле.

— Ладно, попробую, — сказал он и тяжело поднялся, придерживая полы растёгнутого пальто, его породистое удлинённое лицо стало отечески строгим и озабоченным. Он решительно направился к женщине, выдвинул свободный стул и по-хозяйски уселся.

— Разрешите присесть, я всего на два слова, — сказал он с невозмутимым спокойствием.

Она выдохнула в потолок тонкую струю дыма.

— Вы и так уже сидите. Но бога ради. Что за проблемы?

— У нас всё нормально, — сказал мой приятель. — А вот у вас, кажется, проблемы могут возникнуть. Поэтому мы предлагаем пустяковую услугу, если вы, конечно, не против.

— Да? Очень интересно. Продолжайте, я слушаю.

— Видите ли, уже довольно поздно. А путешествовать ночью в дождь, с ребёнком по пустынному городу было бы крайне опрометчиво. Будет правильной, если мы проводим вас до места, можете на нас положиться. Мой друг, к слову сказать, человек порядочный насколько это нынче возможно, более того, он писатель.

— Вот оно что. То-то я думаю, лицо знакомое. Должно быть, видела на фотографии... Ну а вы кто, поэт?

— С чего вы взяли?

— Да Бог его знает, говорите слишком складно.

— Польщён, но я не поэт.

— Тогда, кто вы, красавец? Может, художник? Или музыкант?

— Нет, я актёр, — нахмурился Царегородцев. — Ну так что? Проводить вас домой?

— Ах да, домой. Что ж, большое спасибо, но вы напрасно беспокоились, мы живём в трёх шагах. А впрочем, как хотите. Хотите выпить со мной?

— С удовольствием.

— Тогда налейте мне на палец.... Благодарю. Закусывайте бутербродом.

Они разговаривали минут десять. А потом мы все вместе покинули бар, вывалились из его жаркого чрева на сквозящую сырость дождя и ветра, на блестящий лужами тротуар, у бетонных бордюров которого плавали мёртвые чёрные листья. Иногда, ослепляя фарами, мимо проносились автомобили, и рёв их моторов в дождливом мраке уснувшего города казался особенно злым и надрывным. Я взял Настю за руку, и она покорно засеменила рядом, временами оглядываясь на мать, занятую беседой с Царегородцевым. Один раз мы остановились перед большой лужей, я подхватил девочку на руки и, подняв над головой, стремительно перенёс на твёрдое место. Мне показалось, она перестала дышать, а, очутившись на ногах, ещё постояла, зажмурил глаза и прижав кулачки к подбородку. Потом протянула мне руку, и мы весело продолжили путь.

— Похоже, ваш друг обожает детей. Он женат? — услышал я за спиной. Я оглянулся, они шли совсем близко.

— Кто, он? — ответил насмешливо Царегородцев. — Нет, не женат, он вообразил, что не создан для брака. Хотя кто его знает — может, по-своему он и прав.

— Вот как? Интересно. И что значит — «по-своему прав»?

— То и значит... Понимаете, когда он пишет, а пишет он всегда и всюду, даже в постели с женщиной, живые люди интересуют его по большей части в качестве сырья. Его реальный мир — это выдуманные им истории. Хорошо, если в одной из них его гипотетическая жена займёт строчку-другую перед тем, как он потеряет к ней интерес.

— С ума сойти. А на вид такой душка.

— Он и есть душка. Просто не хочет унижать женщину столь мрачной перспективой. Такой уж он человек.

— Ну, а вы? Вы тоже разделяете взгляды вашего друга?

— Да теперь уж и сам не знаю. Я был женат трижды, но, как выяснилось, всякий раз ошибался. Тут поневоле задумаешься.

— И ошибались, конечно, в женщинах?

— Ничего я не знаю. Я ведь актёр, полжизни провёл на сцене: чужие мысли, чужие чувства; поступки — и те не свои. Пойди теперь разберись, какие из них настоящие.

— В таком случае, поздравляю — вы настоящий актёр.

Тем временем, следуя указаниям Насти, я свернул в тоннель низкой арки между домами, и скоро мы оказались у одного из подъездов восьмизэтажного, величаво-мрачного здания времён сталинской гигантомании, освещённого по фасаду круглыми матовыми фонарями на бурых чугунных стойках.

— Ничего домик! — буркнул Царегородцев, входя последним в освещённый портик подъезда и опуская, встряхивая в сторону зонт.

— Да, квартира удобная, — сказала женщина. — Она мне от отца осталась, он уехал с мачехой в Гамбург, живут там уже три года.

— Я и не предполагал, что вы немка, — заметил Царегородцев, пытливо взглядывая в её лицо. Потом, спохватившись, обернулся ко мне. — Да, познакомься — это Мария.

Я представился и, пожимая её холодную руку, сказал:

— Очень приятно. У вас очаровательная дочь. Только вот зачем так поздно водить её в подобные заведения? Или не с кем оставить?

Пряча руки в карманы плаща, она посмотрела на девочку.

— Можно сказать и так. Впрочем, она привыкла поздно ложиться... — и добавила, остановив на мне озадаченный взгляд: — А вам-то, собственно, какое до этого дело?

— Я же говорю, дочь у вас очаровательная. К тому же вы меня заинтересовали. Удивительно, например, почему до сих пор вы не присоединились к родителям?

— Это долгий и скучный разговор, а нам пора, уже поздно.

— И всё-таки? В двух словах...

— У дедушки мы были в прошлом году, но маме там не понравилось, — объяснила девочка. — Ведь правда же, мама? Скажи, а то он не верит.

— Забавно, — сказала она, не слушая дочь, — неужели все писатели так бесцеремонны или мне одной повезло?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, вот то самое. Вашу невозмутимость, самоуверенный тон, невинные вопросы: не с кем оставить, почему не уехали и прочее в том же роде. Но мне, слава богу, кое-что уже рассказали о ваших профессиональных пристрастиях, поэтому я не в обиде.

Царегородцев закашлялся.

— Позвольте узнать, что именно?

— Что? Ну, например, что вы всегда и всюду пишете. Удивительно. Всегда и всюду. Даже в постели с женщиной. Прямо Хемингуэй какой-то...

— Вы мне льстите, Машенька.

— А вы не обольщайтесь. И не стоит интересоваться мной в качестве сырья для ваших произведений.

— Почему?

— Потому что материал неподходящий.

— Да вам-то откуда знать?

Она удивлённо взглянула на меня.

— И простите меня за мой тон. У меня и в мыслях не было вас обидеть.

— Правда?

— Именно так. Будь у нас больше времени, вы бы поняли, что я не совсем то, что вы могли обо мне подумать.

Она наклонила голову к плечу и с минуту молчала, с насмешливым любопытством разглядывая меня. Потом пожала плечами и сказала, вынимая из кармана бумажник, доставая из него визитную карточку:

— Бог вас знает, кто вы такой... Но всё равно. Вот возьмите, это старая визитка отца. Позвоните как-нибудь, если не пропадёт интерес... — и ещё сказала, обращаясь к Царегородцеву: — Ну, нам пора, спасибо, что проводили. Приятно иметь дело с порядочными людьми. Настя, а ты ничего не хочешь сказать?

Настя, смущённо стоявшая в сторонке, тотчас подошла ко мне и, подняв голову, с детской прямоотой заявила:

— Пока. Позвонить не забудешь?

— Постараюсь.

— Не передумаешь?

— Нет.

Она улыбнулась, и они ушли, а мы какое-то время ещё стояли под дождём у подъезда и, задрвав голову, смотрели на мрачную громаду безмолвного дома. Но вот наверху одно за другим осветились три высоких окна, и Царегородцев сонно промолвил:

— Пятый этаж. Налево... — и затем ободряюще: — Всё. Берём такси и едем ко мне, у меня зуб на зуб не попадает от этих пеших прогулок.

Возле арки я обернулся, ещё раз посмотрел на тёмный силуэт здания, на три освещённых окна, и тут же с фотографической точностью вообразил себе её мягко освещённую спальню, её саму, уже готовую лечь в постель, в одной только чёрной сорочке, особенно ловкой в перехвате тонкой талии — вставшую одним коленом на край кровати и потянувшуюся вперёд, чтобы откинуть с подушек белоснежное одеяло. И как только вообразил себе это — испытал лёгкий приступ волнения, того смутного волнения, что случается иногда в пору бабьего лета.

Через час мы были на месте, в Северо-Западном округе, в одном из тех относительно новых районов, архитектура которых вызывает у меня раздражение и невесёлые мысли о перспективах клонирования. Когда Царегородцев открыл ключом дверь и мы оказались в прихожей, со стороны кухни к нам выбежала темноволосая, до пояса обнажённая девушка в шортах, с узким смуглым лицом, гибким телом и острыми грудями, похоже, всегда готовыми к бою.

— О, пардон! — прошептала она с улыбкой смущения, но с места, однако, не тронулась, дав мне возможность по достоинству оценить её упругий живот и молодое стоячее вымя с наконечниками алых сосков.

— Не нужно, Юля, — снимая пальто, сказал Царегородцев. — Не нужно позировать, он не художник. То есть он, конечно, художник, но только другого плана. Он художник пера.

— О, я догадываюсь, — сказала, кивая, Юля и прикрыла ладонями груди. — Но ведь это тоже очаровательно. Вы в какой манере работаете?

Пока я искал что ответить и смотрел в её маслянисто-карие глаза, Царегородцев нетерпеливым движением ослабил галстук и, подмигнув мне, внушительно заявил:

— Он работает в манере Кортасара, но это не может быть тебе интересно. Иди, оденься и для начала принеси коньяку, сырость на дворе прямо окающая.

— Почему он так груб со мной? — обратилась она ко мне, и глаза её, полуприкрытые смуглыми веками, затуманились. — Он всегда причиняет мне боль, всегда! Правда, я не злопамятна. А этот, как его... он испанец?

— Да, некоторым образом, — ответил я без улыбки и вполне ей сочувствуя при одной только мысли о театральных массовках, где, вероятно, пройдёт её молодость.

Должен признаться, у Царегородцева я задержался, уступил его настойчивой просьбе «надраться» и, к стыду своему, уступал ещё пару дней, пока не почувствовал, что тело моё деревенеет, а желудок рискует расплавиться. От этих дней в памяти осталось: широкий низкий диван, жёлтый сумрак гостиной с открытым окном, куда входит влажный осенний ветер, полированный стол, похожий на витрину винного магазина, а у стола — трагически рыдаю-

щая Юля с наброшенным на плечи белым платком. И рядом вдребезги пьяный, страшно бледный Царегородцев, тупо требующий от неё «не заламывать в этом акте руки».

Домой я вернулся в такую же сырую полночь, в полуобморочном состоянии забрался в ванну и открыл горячую воду, мечтая умереть или выжить. Через час, закутавшись в халат, выпив чашку бульона и полстакана водки, я сидел в кресле, перелистывал книгу романов Фриша и воскрешал в памяти сонную тишину частного бара, влажные глаза хмелеющей женщины, её красивый рот и спокойный голос, чем-то меня взволновавший в тот вечер. Мария... И я вдруг испытал столь острое желание позвонить ей немедленно, что тут же поднялся, вышел в прихожую и, достав из кармана визитку, внимательно изучил её. Вернувшись в кресло, бросил взгляд на часы (без четверти три), и сразу остыл, с тупой покорностью вложил карточку в книгу и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Как странно: её отцом был доктор Потоцкий, известный нейрохирург, несколько лет назад уехавший в Германию, чем в своё время не замедлила воспользоваться местная пресса, утверждая, что причиной послужил некий скандал, связанный с его профессиональной деятельностью. Всё это я хорошо помнил. Как сообщал один уважаемый еженедельник, волну подняли менее удачливые конкуренты — они с методичностью опытных анонимов докладывали куда нужно, вплоть до бульварных газет, о том, что за большие деньги хирург делает сложнейшие операции, используя в своих целях препараты и технику государственной клиники, где он и работал. Те больные, по причине безнадёжности отправленные домой умирать, а впоследствии воскресшие, благодаря Потоцкому, ничего не подтвердили, но прецедент всё-таки место имел. После недолгих переговоров с богатыми и деловыми немцами, он принял предложение одной из клиник Гамбурга, где и стал, по словам того же еженедельника, ведущим в своей области специалистом. Да, всё так. Но Мария... Что удерживало её в России? Задремал я только под утро и дремал бы, вероятно, порядочно, но в девять часов так неожиданно и резко прозвонил телефон, что от ужаса я едва не вывалился из кресла. Звонил Царегородцев, сетовал на моё исчезновение, из-за чего, по его выражению, он чуть голову не сломал, ища объяснение столь необдуманному поступку. Под конец озабоченно поинтересовался:

— А чего это у тебя голос такой убитый? Всё грустишь о своей зеленоглазой немке?

— Она не немка. И откуда ты взял, что я грущу о ней?

— Да ладно тебе. Позавчера всю ночь втолковывал мне, какая она необычная да какая несчастная... Ты что, не помнишь? Я уж было совсем собрался съездить за ней — да, слава богу, Юля остановила. А если бы не остановила?

— Хорош бы ты был.

— Вот-вот. Пора бы уж знать тебя, так нет — опять развесил уши.

— Это точно.

— Послушай, я в творческом запое, ушёл на больничный. Ты сейчас давай отсыпайся, а вечером приезжай ко мне, будет уха, ну и по рюмочке «Посольской», если желаешь.

— Хорошо, приеду, — сказал я не очень уверенно. — Но пить не буду, от одной мысли с души воротит. Кстати, как там здоровье у Юли?

— Плохо, брат. Пластом лежит — «безгласна и виду неимуща». Я и уборкой один занимаюсь. Зря мы её напоили, она ведь в крепких напитках мало, что понимает.

Попрощавшись с Царегородцевым, я поднялся из кресла, закурил и пошёл к окну, раздёрнул шторы. Дождь давно кончился, тротуары подсохли, и на голубом небе, уже по-зимнему блеклом, фосфорически-тускло пылало невысокое, холодное солнце. А ветер сменился, он дул теперь с севера — то гнул верхушки голых деревьев, обрывая с них последние листья, то кидался вниз и кружил меж домов, растаскивая по асфальту обрывки мокрых газет, обносил порывистой зыбью блестящие оловом лужи. И одиноко, бесприютно на холодном ветру, на самой вершине тополя против окна моталась из стороны в сторону серая ворона, поминутно распуская взъерошенные крылья, и сиротливо, даже как будто растеряно каркала... Я постоял, покурил. Затем сварил себе кофе, попутно размышляя над словами Царегородцева, и решил, что пил я в тот вечер, — смешивая всё подряд, потому и отшибло память. После чашки горячего кофе с сигаретой, я улёгся в постель и долго лежал с открытыми глазами, пристально смотрел в потолок. И, наконец, уснул, и проспал без сновидений до самого вечера. И пока приводил себя в порядок, брился, мылся и одевался, город совсем погрузился в сумерки — только на западе, там, где пропало за крышами солнце, всё ещё стоял янтарный полусвет, а небо над ним было прозрачного, зеленоватого тона. Закурив, я прошёлся по комнате, пробуя на ощупь выбритый подбородок, подошёл к настенному зеркалу, оглядел себя в нём. Всё вроде бы скромно, ладно: тёмная рубашка, тёмный пиджак, волосы причёсаны и влажно блестя. Вот только лицо, несмотря на бритву и контрастный душ, уже не так свежо и молодо, как хотелось бы. Впрочем, это-то вместе с синими глазами и некоторой сухостью чёрт, смотрелось ещё подходяще, даже на мой придирчивый взгляд. Удовлетворённый, я одёрнул пиджак и направился к столу, сняв телефонную трубку, набрал по памяти номер. После пятого гудка, ровный женский голос ответил:

— Я слушаю — говорите.

Я бодро отрекомендовался:

— Добрый вечер, это Хемингуэй.

— Что?

— Добрый вечер, Мария.

— О, Господи, это вы. Вы откуда звоните?

— Из лачуги своей, разумеется. Имею смелость пригласить вас поужинать.

— Что, прямо сейчас?

— Так точно. Царегородцев обещал уху, быть просил непременно.

Она помолчала.

— Уху. Уху я люблю, но, к сожалению... к сожалению, это невозможно. Вы же знаете, у меня ребёнок.

— Мы могли бы взять Настю с собой.

— Нет, дорогой мой, по гостям я её не вожу. То, что вы видели — ну, то, что она была тогда ночью со мной... В общем, на то были свои причины.

— Понятно. Ну что ж, очень жаль. Может, как-нибудь в другой раз.

— Подождите-ка. Послушайте, а ваш Царегородцев сильно расстроится, если вы не придёте?

— Да нет, не думаю — он там с дамой. А почему вы спрашиваете?

— Если у вас, кроме Царегородцева, ничего не предвидится, приезжайте ко мне. Правда, рыбы нет, но закусить я что-нибудь приготовлю.

— Отлично.

— И прихватите, если у вас есть деньги, что-нибудь выпить покрепче. Девятая квартира — не забудете?

— Не беспокойтесь, выезжаю через пять минут.

А спустя полчаса я выходил из лифта в освещённом холле пятого этажа, где было всего две квартиры, с красной ковровой дорожкой между ними, посередине изрядно вытертой. Она ждала меня, стоя на пороге, левой рукой взявшись за ручку открытой двери, а правую опустив вдоль тела, выставив правое колено вперёд. На ней были домашние брюки без стрелок и широкий кремовый свитер с круглым воротом и поднятыми до локтя рукавами. Я остановился, и мы молча уставились друг на друга. Она выжидательно. Я — приятно опешив: так хороша она мне показалась в своём скромном наряде, с гладко причёсанными волосами, с той особой женственной стройностью тела, которую не спрячешь ни под какими одеждами.

— Ну, что же вы встали, входите, — сказала она, смутившись, и забрала у меня кейс, где находился «джентльменский набор» — коньяк, водка и пунцовая роза в фольге, купленная в цветочном ларьке у пожилого восточного человека с чугунным носом и белым каракулем на висках. Я кивнул и послушно вошёл вслед за ней в прихожую, где всю правую стену занимали чёрные раздвижные шкафы, а у входа в зал стояло старинное зеркало в массивной чёрной раме, крепившейся на чёрном подзеркальнике в виде низкой тумбы с короткими гнутыми ножками. Поставив кейс на подзеркальник, она ловко помогла мне снять плащ, повесила его в один из шкафов и, поймав меня за руку, увлекла через сумрачный зал в угловую комнату с двустворчатыми дверями, в прошлом, очевидно, служившую кабинетом: массивный рабочий стол у окна, кожаный чёрный диван, вдоль стен — высокие книжные стеллажи. Ещё там была пара глубоких кресел, дорогой, но старый ковёр на полу и настольная лампа под зелёным абажуром, стоявшая на журнальном столике.

— Поставьте стол к дивану, и располагайтесь, полистайте что-нибудь, пока я хожу на кухню, — сказала она, уходя.

— Не забудьте про кейс, там заказ, — сказал я ей в спину.

Она ушла, но скоро вернулась с тонкой фарфоровой вазой, в которой качивалась на стебле бархатисто-пунцовая роза.

— Спасибо, — сказала она и поставила вазу на столик. — Разве её я тоже заказывала?

— Нет, но я слышал, что женщины любят цветы.

— Это правда, — сказала она, вздохнув, и коснулась ладонью цветка. Потом сходила на кухню, принесла сервированный поднос, и через пару минут мы, не чокаясь, выпили, налили и выпили снова.

— Хорошая водка, — сказала она удовлетворённо. — Вы молодец, взяли именно то, что нужно.

— Нехитрое дело. Просто видел, какую вы заказали в баре, вот и взял ту же самую. Кстати, а где же ваш милый ребёнок?

— Спит, я уложила её пораньше. Как-то всё неожиданно. И вообще неловко — вы понимаете?

Поскольку столик был мал, мы сидели, почти касаясь друг друга, и чтобы лучше видеть меня, она отодвинулась и села боком, положив ногу на ногу, а левую руку — на отвал дивана.

— Тут у вас среди книг много медицинской литературы. Почему ваш отец не забрал её в Гамбург?

Она закурила и тоже посмотрела на книги.

— Здесь есть и мои книги, я ведь тоже по образованию врач. Правда, теперь уже бывший, три года, как не работаю.

— Хм. А на что вы живёте?

— Что?

— Извините, любопытство меня доконает.

— Извиняю. Деньги не проблема, их присылает отец. Для него это не слишком накладно, а для нас даже больше, чем нужно. Хотя «больше» — никогда не бывает... Но давайте выпьем, — ввернула она, и решительно взяла со стола наполненную рюмку, легонько стукнула о рюмку мою. Мы выпили, она затянулась и замолчала, сосредоточенно рассматривая сигарету. Через минуту подняла на меня глаза и спокойно спросила: — Я вам нравлюсь?

— Конечно.

— Кажется, вы мне тоже.

Она смотрела мне прямо в глаза. И от этого взгляда в горле у меня пересохло.

— Садитесь ближе.

Я пересел. Она улыбнулась, коснулась прохладными пальцами моих щёк и подарила мне тот лёгкий тёплый поцелуй в губы, от которого, как писали когда-то, я тотчас сомлел. Затем отстранилась, взъерошив мне чёлку.

— Поедем к тебе ненадолго? Хочу посмотреть, как ты живёшь.

— Что ж, если ты хочешь... Но — может быть, позже?

— Я здесь не могу. Потом расскажу — почему.

И тут, где-то в глубине комнат что-то упало, зазвенело, послышался приглушённый неразборчивый голос. От неожиданности я вздрогнул, а она неспешно поднялась и произнесла ровным голосом:

— А вот и начало моего рассказа...

Она взяла тонкий стакан, наполнила его водкой и ушла, плотно прикрыв за собой двери. Я тоже налил в стакан изрядную дозу и выпил одним глотком.

— Кто это? — спросил я, когда она вернулась.

Она села рядом, сложила на коленях руки, и ответила с мрачным спокойствием:

— Кто? Это мой муж. Инвалид, негодяй и пьяница.

— Ты права — одевайся, едем ко мне.

— Нет, милый, вечер любви отменяется. У меня всё желание пропало. Тем более — Настя проснулась.

Я погладил её по голове, вид у неё был неважный.

— При чём тут вечер любви? Давай-ка, рассказывай, что происходит. Что у вас с мужем?

Она невесело усмехнулась.

— Как у всех когда-то — любовь. А три года назад перевернулся на машине с какой-то шлюхой. Вскоре после отъезда отца. Паралич. С тех пор выполняю свои врачебные обязанности: воруяю его с места на место, меняю пелёнки и водкой пою.

— И сама за компанию причащаешься.

— Знаю. Но так — как-то легче.

— А что, родных у него нет?

— Была мать, да только умерла лет пять назад. Есть ещё сестра, но у неё семья, кому он нужен.

— Он ведь тебя благодарить должен за то, что ты для него делаешь.

— Он и благодарит. Б...ю, например, называет. Сейчас у меня много разных имён. Называет и заглядывает в глаза, улыбается, чёрт бы его побрал! Как будто это я виновата в том, что он перестал быть мужчиной. Впрочем, на него грех обижаться, это типичная реакция калеки.

— В таком случае, сдай его в богадельню, — предложил я грубо.

— Что ты, не могу — я же врач. Знаю, что такое эти дома инвалидов.

— И как же ты жила эти годы?

— Так и жила.

— Но ведь не могла ты быть всё это время одна?

— Значит, могла. То есть — нет, конечно — пыталась несколько раз изменить положение. Не получилось. Я почему-то невольно всё время сравнивала этих мужчин с мужем и, что совсем ненормально, стала находить между ними немало общего.

— Тогда зачем ты дала мне визитку?

— Чёрт, да откуда я знаю. Когда ты сегодня позвонил, я вообще потерялась, как девочка. Давай-ка выпьем ещё, налей мне, пожалуйста.

— А с кем он оставался, когда вы уезжали к отцу?

— Господи, ты ходячий вопросник. Наняла сиделку, одну знакомую медсестру. Потом она призналась: если бы не наше знакомство, ушла бы на следующий день, так достал он её своими мерзкими выходками.

— Какими выходками?

— Нет, ты невыносим. Пойду, приготовлю кофе... — и она поднялась, но я остановил её, силой усадив к себе на колени. Она вздохнула, погладила меня по щеке и сказала: — Ну и чёрт с ним! — Помоги мне раздеться...

Она стала приезжать ко мне. Приезжала обычно по вечерам, часа на три-четыре, и не было никакой возможности оставить её до утра.

— Что ты, не могу, — сказала она как-то на мою просьбу остаться. — Он хоть и калека, но в пьяном виде может перепугать её до смерти. — И, подумав, спокойно добавила: — Если он что-нибудь сделает с ней, я отравлю его, не задумываясь.

Выпивать она стала реже.

— Ты не беспокойся, — говорила она после двух рюмок коньяку, садясь ко мне на колени. — Я вполне себя контролирую. Просто раньше я выпивала с горя, а теперь... Чувствуешь разницу? — И смеясь, прижималась ко мне, гладила по щеке. Иногда, лёжа в кровати и глядя в окно, она о чём-то задумывалась, и если я тревожил её, переводила взгляд на меня и говорила что-нибудь примерно такое:

— А если бы в тот вечер ты не встретил Царегородцева? Неужели мы тоже не встретились бы? Раньше я даже думать об этом боялась. А теперь — нет. Я верю, что для нашей встречи было предназначение. А ты?

Я садился рядом, целовал её глаза, целовал тёплые, удивительные своим вкусом губы, и отвечал:

— Ты права, мы бы всё равно когда-нибудь встретились. На улице, в трамвае, на прогулочном катере — для меня это ясно, как Божий день.

Однажды она неожиданно позвонила мне до обеда, чего обычно не делала. Мы расстались с ней поздно вечером. Я отвёз её домой и, вернувшись, заснул только под утро — просматривал свою переписку с В. Астафьевым, и кое-что отобрал для газеты, готовившей материал на смерть этого достойного человека. Сонный, я прижал трубку к уху и услышал в ней характерный шум города: приглушённые звуки автомобильных сигналов, чьи-то отдалённые голоса.

— Если ты спишь, — сказала она вместо приветствия, — а я думаю, что это так, то встань и подойди к окну, посмотри какая чудесная погода. Просто чудо какое-то. Ночью выпал снег, а сейчас — мороз и солнышко. Мы с Настей ходили за билетами в цирк, теперь гуляем в Монастырском саду, у самой площади. Не хочешь нас повидать?

Прогоняя сон, я потряс головой.

— Я-то хочу. А вот Настя? Она ещё не забыла меня?

Она рассмеялась.

— Успокойся, тебя забыть нелегко. Заодно можно перекусить где-нибудь, например, в том баре, помнишь? У меня к нему особое чувство. А у тебя?

— Отлично. Ждите в баре, иду одеваться.

Когда я вошёл в зал, они сидели за столиком в самом углу, друг против друга, пили кофе и закусывали бутербродами. Хозяйка тоже была на месте — обслуживала у стойки клиента, с тихой улыбкой поглядывая на них, ещё более располневшая и медлительная.

— Привет, — сказала она, едва я уселся. — Ты знаешь, она сразу узнала нас, а ведь прошло столько времени — так что пришлось извиниться за твою выходку. Поболтали немного. Скоро родит, это будет третий ребёнок. Сильная женщина, просто удивляюсь таким. Я бы, например, ни за что не решилась... — и она задумчиво прищурила на меня глаза. — А ты как думаешь, не поздно мне подарить Насте братика?

Её серебристая лисья шубка была распахнута, тёмный шарф лежал на плечах. И у меня сердце сжалось от любви к этой женщине с алыми прозрачными пятнами на щеках, с русыми волосами, упавшими на высокий лоб, и зелёными прищуренными глазами, задумчиво глядевшими на меня и, как мне казалось, совсем не требующими ответа.

— Конечно, не поздно, — неожиданно заявила Настя и в наступившей тишине совсем не по-детски вздохнула.

Потом сняла с головы лебяжьё шапочку, из-под которой волной скатились золотистые кудри, взрослым движением откинула их на плечо и добавила, исподлобья оглядев нас обоих.

— Раз вы теперь любовники...

— Ну, как тебе этот милый ребёнок? — сказала она с непонятной усмешкой и прищурила от зажигалки. — Может, сделаем ей подарок?

Голова у меня пошла кругом — я терялся в догадках.

— Ты... Ты не шутишь?

Она смотрела на меня, не мигая.

— А что?

— Нет, ты это серьёзно?

— Ладно, я пошутила. Но мне всегда хотелось иметь сына. Представляешь, как это было бы здорово. Иногда я даже воображаю его себе таким славным, внимательным....

— И с такими же синими глазами, как у него? — безучастно вставила Настя, продолжая исподлобья глядеть на меня.

— Что это с тобой сегодня? — сказала Маша и наклонилась к ней, облокотившись на стол.

— Почему ты не позвонил? — едва слышно спросила Настя, и её пушистые ресницы затрепетали. — Ты же мне обещал. Я ждала, ждала.

— Господи, девочка! — воскликнула Маша, взяв её за руки. — Он звонил, это я виновата, не сказала тебе. Что же ты, милая, ни разу не спросила меня о нём?

Тут Настя отвела от меня глаза и застенчиво прошептала:

— Я подумала, может, он сам вспомнит. Правду ты говорила, что все мужчины одинаковы и заняты только собой...

Как-то в конце зимы мы побывали у Царегородцева, закатились к нему уже ночью, осыпанные искрящимся снегом — и он только глаза расширил от радостного изумления, когда она встала на цыпочки и, смеясь, стала целовать его в щёки, а потом ласково прильнула к нему.

— Царегородцев, милый, если бы ты знал, как я люблю тебя за то, что ты шлялся в ту ночь под дождём. Царегородцев, где твоя женщина? Ах, вот вы где. Дайте я поцелую вас, милая.

И Юлия, на которой из одежды была только рубашка Царегородцева, с умирающими глазами подставила щёку и, глядя морозный мех её шубки, восторженно прошептала:

— А вы Маша? Вы и есть та самая Маша? О Боже, как это всё романтично...

В ту ночь она впервые осталась у меня до утра.

Сейчас, когда я приблизился к финальной части рассказа и восстанавливаю в памяти события того февральского дня, у меня снова начинают дрожать руки и, чтобы унять эту дрожь, я выпиваю рюмку водки, подхожу к окну и закуриваю сигарету. Сейчас тоже февраль, и тоже падает снег — он падает отвесно и медленно, так медленно, будто собирается совсем остановиться, и постепенно я успокаиваюсь, возвращаюсь к столу...

Почему она осталась в ту ночь у меня? Трудно сказать. Утром я повёз её на такси домой — и попали мы как раз на пепелище. Пожарные орудовали внутри дома, а из трёх выбитых окон пятого этажа, что выходили на фасад, всё ещё валил дым. У подъезда плакала пожилая женщина, рядом стояли двое пожарных и милиционер без шапки, а на углу машина скорой помощи. Мы выскочили из машины одновременно с двух сторон. Сбив с ног одного пожарного, она бросилась в подъезд, но милиционер успел обхватить её сзади и приподнял, пытаясь прижать к стене. Она закричала, лицо её стало страшным. Подоспевшие врачи быстро вкололи ей что-то, под руки усадили в машину и увезли. Всё это произошло так стремительно, что я даже опомниться не успел.

Позже я узнал: причиной оказался пьяный отец — то ли уронил зажжённую спичку, то ли бросил тлеющий окурок на ковёр у кровати. Он и погиб первый. А Настя, вероятно, была жива до последних минут, но пожарные не успели — она надышалась угарного газа и умерла, находясь в своей комнате

под кроватью. Там и нашли её вместе с плюшевым медвежонком, которого она обнимала за шею.

Доктор Потоцкий прилетел на следующий день, и сразу после похорон увёз Машу в Гамбург, мне она даже не позвонила. Да и зачем? Как тут ни суди, а во всём виноват был я. Ведь если бы не тот злополучный вечер, когда мы встретились с Царегородцевым, ничего бы этого не случилось.

— Случайных встреч не бывает, — сказала однажды она. — Для нашей встречи было предназначение. Я верю в это. А ты?

— Чьё предназначение, Маша? Чьё?

Прошло чуть более полугода. Я жил как во сне, с тошнотворным чувством вины, медленно спиваясь, падая всё ниже и ниже. И напрасно Царегородцев вместе с доброй Юлей всячески пытались образумить меня. Жизнь потеряла смысл и не вызывала во мне ничего, кроме тяжкой усталости.

Однажды осенним вечером раздался телефонный звонок. Пьяный от бессонницы, я снял трубку и спросил: «Какого чёрта?» — а мне тихо ответили:

— Добрый вечер, Хемингуэй. Не хочешь взглянуть на сына?

Аркадий Захаров

П. П. ЕРШОВ — ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ



Заметки на полях

В околोलитературных кругах иногда высказывается мнение: автор знаменитейшего «Конька-горбунка» прибегал к помощи А. С. Пушкина. И первые четыре строфы этой сказки написаны именно Пушкиным. Между тем, такое событие вряд ли случилось, хотя общие источники вдохновения у поэтов, несомненно, имелись. И, возможно, благодаря им у Ершова и Пушкина возникла взаимная симпатия.

Источники эти берут начало в устном народном творчестве, которое сохранило первозданное состояние в сибирской глуши, благодаря поколениям сказителей, бережно хранившим культурное наследие переселенцев из центральных областей России. И наши современники никогда бы не узнали о нём, если бы в начале XIX в. начальник Тюменского уезда П. А. Городцов не записал сказания сибирских первопоселенцев, а профессор Ю. А. Мандрика — не раскопал их в фондах Тюменского областного музея, чтобы издать в 3 томах под названием «Были и небылицы авдинского края». Пётр Алексеевич Городцов, пренебрегая должностными обязанностями, по ненастью и бездорожью пробирался в глухие таёжные поселения вдоль Тавды и Тобола — Артамоново и Плеханово, чтобы дни и ночи напролёт слушать и записывать повествования седых старцев, среди которых оказались выдающиеся рассказчики. Вот как писал об этом сам Городцов: «Предлагаемые сказки записаны мной со слов известных в местности знахарей и сказочников. Сказка «Емеля-дурак» записана 19 марта 1907 г. со слов сказителя, крестьянина села Плехановского Дмитрия Никифоровича Плеханова, уже почтенного старца, ныне достигшего 85-летнего возраста. Сказка Плеханова «Емеля-дурак» обращает на себя внимание в том отношении, что она во второй половине воспроизводит содержание известной сказки Пушкина «Царь Салтан», причём в некоторых своих моментах сходство обеих сказок настолько велико, что с полным правом можно сказать, что предлагаемая сказка представляет собой своеобразный и интересный вариант «Царя Салтана». Затем, при изустной передаче этой сказки, сказитель Д. Н. Плеханов всякий раз, в определённых моментах переходит на стихотворный лад. Так, говоря про белку, сказитель произносит стишок: «Белка песенки поёт...» и т.д. Затем, докладывая царю о виденных в морском путешествии чудесах, моряки начинают свою речь так: «За морем житьё не худо, там живёт такое чудо...» и т.д.

При первоначальном ознакомлении с этой сказкой в изустной передаче её сибирским сказителем невольно возникало предположение: сказитель Плеханов был знаком со сказкой Пушкина и позаимствовал из неё приведённые стишки, но при ближайшем ознакомлении с личностью сказителя

Захаров Аркадий Петрович (Иван Разбойников) (1944 г.р., Нижневартовск). Работал с 15 лет рабочим гальвано-штамповочного завода. Закончил Тюменский лесотехникум по специальности «техник-механик», заочно — факультет трудового и гражданского права в Высшей школе профсоюзного движения (1972, Москва), Уральский политехнический институт по специальности «инженер-экономист». Литературную деятельность начал как публицист в газетах «Тюменский комсомолец», «Собеседник», «Тюменская правда». Активный член клуба «Тюменская старина». Под псевдонимом Иван Разбойников опубликовал роман в двух частях «Сень горькой звезды». Автор литературно-краеведческого исследования «На неведомых дорожках» (1994) о связи А. С. Пушкина с Сибирью. Лауреат литературной премии Уральского федерального округа. Награждён медалью «Акинфий Демидов», золотой медалью «Василий Шукшин». Член Союза писателей России. Живёт в Тюмени.

Д. Н. Плеханова и с обстоятельствами его жизни пришлось это предположение отбросить. По словам сказителя Плеханова, как эту сказку, так и все другие, какие он знает, он воспринял и запомнил в изустной передаче от других старых сказителей, теперь, конечно, давно умерших и живших некогда как в его родном селе, так и в соседних, причём и эти старые сказители так же произносили в этой сказке приведённые стихи. По словам Плеханова, он услышал сказку «Емеля-дурак» от стариков в то время, когда был ещё мальчиком-подростком. Имея в виду, что в настоящее время Плеханов имеет 86 лет, надо отроческие годы его отнести к 40-м и к началу 50-х годов минувшего столетия. В то время в селе Плехановском не было не только школы, но даже и церкви, и само селение представляло собой небольшую деревню, дворов около 25. В то время на селе, по словам Плеханова, было самое большое — два-три человека, знавших грамоту и читавших старопечатные книги. Сам Плеханов — человек неграмотный и прочитать сказки не мог и, по его словам, сказки Пушкина о царе Салтане он не слышал ни в изустном пересказе, ни в чтении, и вообще он ничего не знает ни о Пушкине, ни о его стихах и сказках. Сороковые и пятидесятые годы минувшего столетия совпадают с первыми десятилетиями после смерти Пушкина, и нельзя допустить, даже в форме предположения, чтобы в то время сказки Пушкина из Петербурга могли проникнуть в далёкую Сибирь и стали бы достоянием народных сказителей.

Нелишне указать ещё на то, что старые народные сказители и сказочники, являясь хранителями преданий старины и произведений народного творчества, крайне ревниво оберегают свои познания в доступной им чистоте и всеми мерами охраняют их от постороннего влияния; в частности, к книжной мудрости, которая проводится в современной народной школе, сказители относятся с большим недоверием и даже с некоторым высокомерием. По крайней мере, такой старый и опытный сказитель, как Д. Н. Плеханов, вполне осознающий своё значение в этой области, почёл бы ниже своего достоинства позаимствование эпических знаний из школьной книжки.

Приведённые соображения дают серьёзное основание сделать обратное предположение, что сам Пушкин... слышал эти стихи от сказителей и воспользовался ими как образцами для стихотворного изложения народных сказок».

К этим словам П. Городцова мало что можно добавить. Разве то, что в сказке «Емеля-дурак» имена Гвидон и Салтан не упоминаются. Зато король Гвидон, царь Додон, царь Салтан Мугаметович представлены в другой сибирской сказке «Бова (Баба)-Королевич», рассказанной Городцову другим сказителем из деревни Артамоновой Осипом Меркульевичем Заякиным в январе 1907 г.

Замечательному этому сказителю также принадлежит изложение изначально существовавшего народного варианта сказки «Конёк горбунок», записанного со слов О. М. Заякина П. Городцовым в 1906 г. Сказка Заякина

представляет собой упрощённый вариант и по художественной ценности уступает производному от него варианту П. П. Ершова. Но нельзя не отметить удивительное совпадение сюжетов того и другого произведения. Народная сказка ускоряет развитие событий, опускает малозначительные, по мнению сказителя, детали, сохраняя главное: веру в волшебную перспективу крестьянского бытия. Иван у Заякина отнюдь не дурак, не лентяй, он смел и предприимчив, смекалист, умеет извлечь выгоду. Поэтому у Заякина отсутствует прекрасно описанная Ершовым сцена выгодной продажи на рынке двух замечательных коней, в результате чего Ивана приглашают стать царским конюхом. А Конёк-горбунок у Заякина не похож на описанного Ершовым: «ростом три вершка, на спине с двумя горбами и аршинными ушами». В народной сказке конёк отнюдь не карлик, слегка горбатенький, а уши — не упоминаются. В сказке Заякина Иван показан добропорядочным крестьянином, сумевшим произвести впечатление на царя и принятым на службу. Дальше события обеих сказок развиваются по принципу подобия. Однако в народном варианте сказки царь не изверг, не сатрап, хотя и волевой правитель. И в той, и в другой сказках присутствуют жар-птичино перо, Жар-птица, Царь-девица, мать-Солнце, рыба Кит, кольцо царевны, драка Ерша с Карасём. Но завершается народная сказка, как и положено по народной традиции, добром: Солнце засияло, рыба Кит отрыгнула корабли и освободилась, Царь женился на царь-девице, а Иван, ставший князем, — на девице из знатного рода. Потому что не может простолюдин стать царём. Не может получить вознаграждение за верную службу. Вплоть до невесты-боярыни. «И задал царь пир на весь мир...» Никакой злобы в итоге. А вот у Ершова в сказке — совсем не так. Чтобы Ивану добиться счастья и жениться на царь-девице, понадобилось, чтобы его соперник-царь сварился. Жестокий, надо заметить, конец у сказочки. Соответствующий мятежному духу времени. Вполне объяснимый молодостью и экстремизмом не понятого цензурой автора.

Можно предположить: народный вариант сказки «Конёк горбунок» в XIX в. широко известен в Тобольской губернии не только благодаря О. М. Заякину, человеку подвижному, знаменитому на всю округу свадебному дружке, знахарю и лекарю, но и его предшественникам и наставникам, которых мы не знаем, но которые, несомненно, были. Естественно полагать: сказка о «Коньке-горбунке» была известна не одному Заякину, а широкому кругу его слушателей. А те, в меру способностей, становились её распространителями. Однажды (а может, и неоднократно) её услышал и запомнил молодой Пётр Ершов. В детстве Петруша Ершов часто переезжал вместе с отцом, менявшим место службы: Омск, Петропавловск, Ишим, Берёзово и, наконец, Тобольск. Дороги длинные, прогоны дальние, постоянные дворы, ямские станции, на них попадаются люди интересные. На ямских станциях нередко встречались сказители, заполнявшие сказками тоску ожидания перекладных коней, окончания непогоды или наступления рассвета. О чём же ещё

беседовать ямщикам и проезжающим, как не о чудесных конях? Возможно, именно в такой поездке сказку о «Коньке-горбунке» удалось услышать юному Петруше Ершову, чтобы запомнить, дополнить, переработать по своему вкусу и изложить в стихотворной форме в соответствии с настроениями беспокойного времени, уже в 1834 г.

Такие бессмертные произведения, как «Конёк горбунок», не рождаются на пустом месте. Они создаются длительное время как производное от коллективного творчества, совершенствуются и шлифуются в многократных переказах, пока не попадут в поле зрения гения, подобного П. П. Ершову, чтобы его стараниями приобрести окончательный вид, неподвластный литературной моде и веяниям времён. А нам остаётся восхищаться и гордиться нашими земляками — П. П. Ершовым и П. А. Городцовым. И не забыть Юрия Лукича Мандрику, воскресившего из забвения «Были и небылицы Тавдинского края».

Владимир Шугля



ПОД СЕРДЦА СЕНЬЮ

* * *

* * *

Чуть слышно море плещет,
Негромок в ясный день прибой,
В просторах дальних резче
Волшебной синевы настой.

Пусть новых дней расцвет
Тебя тревожит,
Но ярче всех светил
В тот день погожий

Приспущен парус белый,
Исчез крикливых чаек лёт.
И весело, и смело
Сверкает яркий небосвод...

Мне свет небесных сил,
Что в сердце ожил,
Что душу покорил
И мир стреножил.

Доносит ветер нежный
Далёких храмов перезвон,
Спокоен и безбрежен
Широкий неба горизонт...

И кажется, как миг,
Одним мгновеньем
Вся жизнь... И миражом,
Во сне виденьем

И явью неземной, —
Как будто не со мной...

...И в памяти держа,
Нескрытый темью,
Тот день хранит душа
Под сердца сенью.

* * *

И надо ж такому случиться:
С высот, осторожно кружа,
Спустилась, как синяя птица,
Мне на руки чья-то душа.
Не просто, не ради забавы,
Упала звездой в ночи,
В ночном шелестенье дубравы,
В беззвучном мерцанье свечи...
Кем посланы эти приветы,
Чьи жизни давно позади?..
В мелодии лунного света
Я слышу земное: «Прости...»

* * *

Как звёздочка-лампа,
Чуть светит лампада.
Безмолвные тени
В молчании сада.
Зарытые в тучи
Созвездия гаснут...
И город беззвучен
В покое бесстрастном.
...Ночные виденья,
Домов силуэты.

В них сонные окна —
Созвездья планеты...

* * *

Душевный стон в секундах
и минутах,
Желаний — нет, покоя — тоже нет.
И нить судьбы,
как старой сети путы...
Не половодье чувств,
а в сердце смуту
Несёт душе похмелье горьких лет.

Очнись, душа!
С судьбой тебе подвластной
Вставай скорей на вещий путь
зерна —
Верни любовь...
Всё в мире не напрасно,
Коль ты ежеминутно, ежечасно
Творишь её... Тебя ж — творит она...

* * *

Ты на покой не променяй
К ветрам и высям тягу,
И слёз, душа, не проливай,
За боль, за кровь... за драку.
И пусть бродягою-ручьём
Текут из сердца грёзы,
Но дни — в паденье вниз лицом —
Полны вчерашней прозы.
Из их христового нутра
Рождается лик буден.

Владимир Фёдорович Шугля — автор многих поэтических сборников, Почётный Генеральный консул Республики Беларусь в России, живёт в Тюмени, но корнями связан с Беларусью. Его стихи опубликованы в журналах «Современник» и «Молодая гвардия», «Великоросс» и «Русский крест», «Неман» и «Немига литературная», «Невский альманах» и «Югра» и др. Многие поэтические произведения стали песнями. Издан ряд книг лирики. Он член Союза писателей Союзного государства России и Беларуси, Союза писателей Беларуси, Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. Лауреат республиканской премии «Лучшая книга года» (2013, Беларусь), ряда литературных премий России, награждён орденом «Дружбы» (Россия), медалью и орденом Ф. Скорины.

По сути суть — судьбы игра
На самой кромке сути...
Не веря в драке никому,
Душа, как в день судебный,
Летит к любимым, что поймут...
Где грёзы, как молебны.

* * *

Туманной ранью —
Речка в дымке,
Как в сказке, манит
Даль тропинкой.
И лист калины
Цвета крови...
На травах — иней
Лёгкой новью.

Рисует осень
Тонкой кистью
Природы проседь

В жёлтых листьях.
...Не знать бы стыни —
Не поверить,
Что осень сгинет
В снегосфере...

* * *

Нам дали морские писали стихи,
Водю солёной смывая грехи.
Играла лукаво со светом волна,
Маня глубиной, бирюзой полна.
В песке исчезали слезинки воды,
На солнце блистая, как неба следы...

На рифмах, как будто на крыльях
полёт,
Вдруг сердце рванулось
в синеющий свод
И там, у границы небесной черты,
Осталось на небе до первой звезды.

Василий Полушкин



ОПАЛЬНЫЕ БАТЬКИ

ОПАЛЬНЫЕ БАТЬКИ

В какой-то недоступной глухомани
Колоть дрова, а мыться —
только в бане
Всей современной жизни вопреки...
В домах, напоминающих сараи,
Прозрачно-тихо,
как в преддверье рая, —

Вот так живут опальные батьки.
Пускай в Москве дверь в храм —
как двери в кассу,
Пускай в Москве шуршат купюры
в рясах
И оптом продаётся благодать.
Здесь — чёрный хлеб лежит
на блюще горкой,

ЛИСИЧКИ

Опять в своё плетёное лукошко
Срезаю я цветы на толстых ножках.
Средь наших катастроф
и потрясений
Они цветут в лесах порой осенней.
И взрослые ликуют, словно дети,
Ползут на четвереньках
в разноцветье...
Смыкает лес желтеющие кроны,
А мы не слышим вопли телефона,
И мокнем под дождём,
скользим по склонам,
Пыхтим, хромаем,
но кладём поклоны.
Таким цветам не стыдно
поклониться —
Пусть пот струится, ноет поясница,
Но мы спешим в леса,
где в дальних даях
Они не отцвели и не завяли.
Вот солнце село...
Ну, ещё немножко...

С трудом тащу тяжёлое лукошко,
И руки все обстрёканы крапивой,
До дома далеко, а я счастливый!

ГРИБНАЯ ОХОТА

Всё свои имеет сроки,
Есть всему свой день и час.
За груздями в лес далёкий
Еду я который раз.
К настоящему — гвоздями
Приколочен человек.
А я еду за груздями.
Сыплет белый-белый снег.
Дремлют золотые травы
В серебристых кружевах.
Нынче удался на славу
Древний праздник покрова!
Я смотрю вокруг в смятенье:

В груздяном лесу с утра
Нереальное сплетенье
Золота и серебра.
Не могу сдержатъ я грусти,
И грызёт меня тоска:
Ах вы, грузди мои, грузди!
Как с лопатой вас искать?
Я глядеть стараюсь в оба:
По логам, вокруг, везде
Хитро прячутся в сугробах
Сотни молодых груздей.
Октябрю не стать июлем...
Снег — не видно, что под ним.
...Но копытили косули
Здесь опяточные пни.
Ничего, и без лопаты
Удаётся марш-бросок:
Из сугробов я опять
Собираю в туесок.
Жёлтый лист роняет кустик
Под заснеженной сосной...
Ах вы, грузди мои, грузди!
Вас искать пойду весной.

* * *

Если я вдруг устану лечить
человеческий род,
От планёрок, стандартов
и жалоб уйду утомлённо,—
То начну исцелять от людей
мхи сибирских болот
И от мусорных куч — ручейки
на берёзовых склонах.
Да, сегодня людьми тяжело
заболела земля —
Высыхают озёра, леса умирают
до срока.
Их лечить — государство,
конечно, не даст ни рубля.
...Ничего — переберюсь и грибами
с берёзовым соком.

На Руси было много и странников,
и дураков,—
Тех, кто ходит с ума
приблизительно наполовину.
Лес прокормит... Не будет конфет
и крутых коньяков,
Но поспеет клубника,
и ждёт нас лесная малина.
Я в бумагах тону... Кто поможет
простому врачу?
Из больничных палат скроюсь
в дебри — зализывать раны.
Может быть, от вредителей
лес исцелять научусь,
Переломы крыла у стрекоз
оперировать стану...

ГОРКА

Пусть в Сибири трещат морозы,
Но настанет счастливый час,
Если в ванну из-под навоза
Постелить пожилой палас.

Что ещё для веселья нужно?
Мелкий снег залепил вихры,
И сапожник с хирургом дружно
В этой ванне летят с горы.

И хохочут в восторге оба,
Рады каждому выражу:
— Ты барахтаешься в сугробе,
Как упавший на спину жук! —

— У тебя правый ус стеклянный! —
— Ты в снегу и репьях, гляди! —
...По откосу в навозной ванной,
Как на саночках, мы летим...

* * *

Как все матери в мире —
бесстрашная, может — святая.
Ты способна на всё! —
и беспомощных малых храня,

Ты уводишь меня от гнезда,
на крыло припадая.
Я не ем певчих птиц.
Ты, пичуга, не бойся меня.
Это где-то — прогресс,
а у вас, как всегда,
по старинке...
Ты вернулась на родину...
Много видала в пути.
И на солнечном склоне сплетала
травинку к травинке,
Чтобы детям уютно и радостно
было расти.

Ах, тебе бы сидеть на гнезде
да свистеть-разливаться,
Чтобы слушал весь лес,
чтобы песни учили птенцы.
Очень жаль, только вы так давно
нас привыкли бояться —
С той поры, как из светлого рая
ушли праотцы...
Возвращаться скорей и поверь:
ничего не случится.
Здесь, на склоне, в сухом орляке,
на ладонях Творца
Притаилось гнездо,
где бесстрашную певчую птицу
Ждут четыре доверчивых
крапчато-сизых яйца.

* * *

Широкая река. Деревья. Грусть.
Вы помните? — издревле и доньше
Выплакивает — напевает Русь
О дубе и о тоненькой рябине.
Судьбою им нелёгкий жребий дан —
Всю жизнь друг к другу
над рекой тянуться...
Но только в шквальный
ветер и буран
Их веткам суждено соприкоснуться.



СУМКА

Сумка

Вдачный автобус, неспешно отсчитывая каждую ступеньку чёрной металлической тростью, вошла старушка. Противовесом массивной трости ей служила старомодная, потёртая сумка неопределённого цвета, что болталась на локотке старушки. Появление вошедшей было встречено весёлым шушуканьем, которое надо было понимать не иначе как приветствие. Старушка сочла нужным ответить на него привычным поклоном жиденьких седин, скреплённых на затылке костяным гребнем позапрошлого века. Почти неуловимая улыбка тронула её личико. Она поняла, что речь тут шла о ней, это приятно удивило её, и помогло держаться с достоинством. Лицо старушки ещё хранило черты ушедшей молодости, а в синеве глаз, и в выпуклости скул проглядывали следы былой красоты.

— Ну, вот и она! — голосом, которым объявляют автобусные остановки, выговорила кондукторша. — Явилась, не запылилась. Правду говорят, что хорошего человека только вспомни, он тут как тут.

Старушка же, воспользовавшись тем, что внимание на себя отвлекла кондукторша, юркнула на свободное место и что-то начала шептать соседке, поглаживая бережно свою сумку.

— Э! Нет! Нашептаться вы ещё успеете, ты всем рассказывай, — засмеялась кондукторша и добавила уже теплее. — Ивановна, ну, правда, расскажи сама.

Виталий Огородников (1956 г.р.) — после института работал в экспедициях на Крайнем Севере, в пустынях Средней Азии, геодезист с 40-летним стажем, поступил в Институт культуры на отделение «живопись», увлекается музыкой, велосипедом, путешествует, принимал участие во многих марафонах, занимается моржеванием. Автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей России. Живёт в Тюмени.

— Чаво тебе опять сказывать? — улыбаясь краешком губ, поинтересовалась новенькая пассажирка, и ещё крепче прижав к себе сумку, стала с ней как бы одним целым.

— Расскажи, как ты позавчера на дачку прокатилась. Смена-то моя как раз была. Ты же во-о-о-н там сидела, — и кондукторша кивнула на последний ряд кресел автобуса, заливаясь смехом. «Эка ты касса, эка касса... — подумала старушка, — Сама бы так вот прокатилась...» — но вслух спокойно, как ни в чём ни бывало, вымолвила:

— Прокатилась и прокатилась. Дел на даче всегда хватает. Лук я ехала снимать. Дождя-то прогнозёры не обещали, а дождь их и не послушал — полоскал тодысь как из леечек. Чуть не простудил меня дождик этот, — она кашлянула в сухой кулачок для достоверности изложения дальнейших событий и достала из сумки носовой платок, больше напоминающий кусок марли.

— Синоптики-от соврут, недорого возьмут, прости меня Господи, — вздохнула она, посмотрев пристально в выгнутый потолок автобуса.

— Ивановна! Синоптики, синоптики. Зубы народу не заговаривай, мы про синоптиков и так всё знаем, ты про себя рассказывай, — почти scomандовала кондукторша, подходя к ней, чтобы обилетить, но старушка словно не слышала её:

— Оне ведь как? Говорят тебе: «Без осадков», а в окно поглядеть им недосуг. Да вы глаза-то разуйте. На воле-то падера несусветная. Вот те и без осадков. Ливень — это вам уже и не осадки! Уж он осадит, так осадит! — и тут старушка выдала целую тираду о предсказателях погодных. — Во все времена достаётся им, бедным. Попробуй, угадай, что там наверху удумают, какую погоду на Землю отправят. Ивановне до этого дела нет — в пух и прах разнесла метеорологическую службу с её стандартами и нестандартными. А в автобусе стихли смешки, словно там ехали одни синоптики.

— И-ва-нов-на! — по слогам проговорила кондукторша, — Рас-ска-зы-вай!

Недолюбливала Ивановна кондукторов. Вроде они и обходительные, и улыбочивые, но вот — все дачники едут работать, а кондуктора едут кататься. Надо морковку полоть, а они хи-хи да ха-ха — катаются. Ведь были же раньше кассы. Ивановна внимательно посмотрела на кондукторшу, и та ей напомнила кассу. Такую большую билетную кассу, только живую. И в памяти Ивановны поплыли всякие кассы. Каких только касс она не перевидала на своём веку! Сколько её кровных пяточков эти кассы поглотили! Были кассы — опускаешь пяточок, нажимаешь рычажок и — щелчок, и оттуда тебе билетик, да бывало и счастливый. Радуетесь счастью бумажному, думаетесь: съест билетик сейчас или на остановке? Лучше бы сейчас. А вдруг контроль? Вот бы сюда эту кассу, а кондуктора пусть отдыхают или морковь пропалывают. Тоже уж немолодые. Пока у Ивановны в голове брякали разные кассы и летали счастливые билетки, контролёрша подошла вплотную к ней, обилетила, подмигнула уже совсем по-дружески:

— Давай, Ивановна, рассказывай, пока едем. Дорога-то дальняя. Всё ехать веселей.

«Эка ты, касса-касса, вечно с подковырками пристаёт...» — подумала Ивановна, но делать нечего, надо рассказывать, раз просят. Весь автобус желал повеселиться, хотя Ивановне, похоже, было не до смеха:

— Лук я хотела снять, раз ведро обещали, да грядки к зиме приготовить, тоже уж пора, да вот эту сумку, — и она поддала сумке как нашкодившему котёнку, — в автобусе твоём и оставила.

— Ну, ты и скажешь Ивановна! Уже и автобус мой, — мечтательно запрокинула голову кондукторша.

— Подруга меня тодысь заболтала, — озираясь по сторонам, оправдывалась старушка.

— Подруга, видите ли, во всём виновата, — перебила её кондукторша. «Эка ты, касса-касса, научилась говорить», — а перед глазами у неё всплыла другая касса, в которую трудовые пяточки можно было и не опускать. Она и так билеты выдавала — уж больно доверчивая была. И тут Ивановне пришла в голову мысль, что давно крутилась в сознании, но была не сформулирована. Вспомнив же снова все виденные ею кассы, она вдруг поняла, что какие кассы, такие и времена были, такие и люди. Есть тут прямая связь. Когда не хватало денег, в эту кассу бросали и три копейки, а открывали на все пять, а то и на все десять копеек! Касса молчаливо прощает людям их ошибки — и слова не скажет, подпрыгивает себе на кочках да мелочью звенит. Интересно то, что все, кто едет сейчас в этом автобусе, разве, что кроме водителя, такие кассы помнят. Народу в автобусах тогда было, как говорили, «битком», но пяточки свои никто не прятал, все опускали, а кто не дотягивался, передавали, и шли пяточки, десятчики, пятнадцички, двадцадчики из рук в руки через весь автобус. И за это касса одаривала пассажиров билетиками, иногда и счастливыми. Касса весело подпрыгивала на кочках, звеня мелочью на весь автобус. Никогда такие кассы не забудутся...

Но вернёмся в наше время, в наш автобус, в наш рассказ.

— Из автобуса-то я последняя выходила с костылём энтим, и только вышла, а он двери хлоп, развернулся и обратно припустил. Ни минуты не постоял-ить, когда не надо, дак часами стоят...

— Автобус, видите ли, во всём виноват.

— Я за им побежала, — старушка не успела договорить — автобус содрогнулся от смеха, представив Ивановну бегущей.

— А он едет себе прямёхонько, — продолжала, немного обиженная Ивановна, при этом тоже улыбнувшись. — Я ору ему, ору, а его и след простыл. Автобусник-от энтот был, али другой? — она попыталась разглядеть водителя. Молодой человек за рулём только плечами пожал, мол, не слышал я никакого крика.

— Автобусник, видите ли, во всём виноват, — снова вмешалась кондукторша, поправляя причёску.

— Куда идти? На дачу? Дак ключи в сумке. Домой? Дак и те ключи в сумке. Давление скакануло от расстройства, а лекарства все в сумке. Ладно, у подружки те же болячки, — Ивановна снова принялась, прищурившись, шарить по автобусу, подслеповатым взглядом, — Угостила меня таблетками и говорит, чтоб я Саше позвонила, сыночку своему. Я за телефон, а тот-от... в сумке. Как звенеть? Она мне: «Звени с маево», дак ведь и номера-то все в сумке. Нонче же какие телефоны-то?

Кондукторша хотела что-то сказать, но передумала, убедившись, что её телефон на месте, а Ивановна продолжала, подбадриваемая весёлым настроением пассажиров:

— Она мне говорит: «Ко мне пошли на дачу», а куда я без сумки? Стою я тама одна одинёшенька, стою, а небо всё вмиг затянуло, как дачу укропом. Автобусов нет. «Эх, уйдёт сумка», — думаю. — «Это хорошо ещё, если дачник какой найдёт. Мою сумку-то каждый дачник знает.

Всеобщий хохоток пробежал по автобусу, подтверждая сказанное.

— А если городской какой найдёт? чего вы ржёте, тогда ведь пропала сумка, да и я пропала — и ключи там, и документы там. Стою, автобусов как на грех нет.

Ивановне самой стало весело. Она не обижалась на этих счастливых, трудолюбивых людей. Как тут обидишься? Ведь эти люди, как и она, всю свою жизнь провели в трудах праведных, и пенсию проводят на грядках в застиранной спецовке, с лопатой в мозолистых руках. И хорошо, что им сейчас весело. В грусти-то какой прок? Автобус покачивало то ли от хохота, то ли от неровностей дороги.

— Так она ведь и до гаража добралась, — хохотала кондукторша, звеня монетами в казённой сумке. — Вся в грязи, перепуганная, но добралась. Диспетчер от неё шарахается, а она одно своё: «Отдавай мою сумку»!

— А ты сама-то куда глядела, — парировала Ивановна, — Вам тока бы кататься, тока кататься. Могла посмотреть и отдать мою сумку. Свою-то сумку вона как бережёт.

— Кондуктор, видите ли, во всём виноват, — вяло и обиженно выдавила кондукторша, словно обстоятельства из неё не слова, а билеты выкручивали. Она и не подумала тогда проверять, кто что оставил. Ивановна спокойно продолжала:

— Стою одна на остановке, таблетки запила из ладошки водичкой с неба, полёгшее стало. Автобус какой-то остановился, автобусник, добрый человек попался, помог мне, усадил, дай Бог ему здоровья на долгие лета. А как везёт-то, как везёт! Я ему объясняю: — У меня деньги в сумке, зонтик в сумке, проездной в сумке, телефон в сумке, очки... он не дослушал, так довёз куда надо — добрый, добрый человек! В автобусе том тоже шутники, как вы же, ехали, ну да ладно.

— Иванна, ты про диспетчера расскажи, — прыснула кондукторша в платочек. Поверх её хохота побрякивали монеты в сумке, висящей у неё на груди. За окном автобуса проплывали милые пейзажи наступившего бабьего лета. На небе ни тучки, ни облачка, но никому не было дела до того, что там за окнами автобуса. Всё внимание было сосредоточено на рассказчице.

— Лицо-то я платом утёрла, хотела себя в порядок привести, красоту навести, да помада в сумке.

Водитель улыбался, не сводя глаз с дороги.

— Не знаю я никакого диспетчера, приехала в гараж, вижу — идёт он на встречу. Я ему прямо и говорю: «Отдавай мою сумку сейчас же!»

Пассажиры хихикали и перешёптывались.

— Он на меня вылутился и не отдаёт. Говорит, что сумок много, кто что оставляет, есть — которые нарочно подкидывают сумки, рюкзаки, коробки. К ним прикасаться нельзя. Их ещё и собаки смотрят. Дескать, боюсь, вы хоть документы покажите — кто такая будете, я ему по-русски: «Дак оне в сумке — документы». Он не отстаёт: «А вы, на каком автобусе, гражданочка, сумку оставили, билетик покажите. Я ему русским языком: «Дак ведь он в сумке».

Автобус ухохатывался, уже предполагая возможные вопросы и ответы.

— Про помаду не спрашивал? — крикнули с передних кресел. Ивановна только рукой махнула: «У меня, — говорит, — мамаш, инструкция!» — А у меня сумка! «У меня, — говорит, — мамаш, таких как вы сотни!» — А у меня сумка! Он одно своё талдычит: «Ну, хоть что-нибудь у вас осталось»? Я подумала-подумала: «Нет! Всё в сумке». «На нет и суда нет», — издевается он, а из меня сердце выпрыгивает. Ладно, хоть оно не в сумке, — предположила старушка и приложила ладонь к левому боку, чтобы в этом убедиться.

— Не сдаётся он, твой этот диспетчер: «Может, ты террористка, мамаша!» Я ево энтим костылём чуть не оттеррористила, — засмеялась старушка, промокая слёзы из морщин платочком, который впору уже было выжимать. — Смекаю, как на него надавить. Он-де не знает, что у меня телефон-от в сумке, и говорю ему громким, хитрым голосом: «Я вот чичас сыночке своему, Ляксандру Паловичу позвеню...» — и старушка, приоткрыв сумку, краем глаза взглянула на самое дорогое, что было в ней, а может, и во всей жизни — на фотокарточку её Сашеньки. Ивановна погрузилась в воспоминания, откинувшись на спинку кресла. Воспоминания! Какие они всё-таки разные — тут и радости и горести, и встречи и расставания...

— Ивановна, ты что заснула? — одёрнула её кондукторша.

— Да нет, — бойко выпалила старушка и решила закончить рассказ на весёлой ноте: — про сыночку я ему сказала и в карман полезла. Сработало, сробел твой диспетчер, завёл меня в комнатёнку, а там — и правда, сумок разных полно, любую выбирай, каку хошь, но мне — моя нужна только. И никаких-таких собак там нетути. Каких он собак мне на уши навешивал? Ищем, ищем, да ить не сразу её найдёшь. Вдруг телефон мой где-то и зазвони. Вижу, вот

она моя хорошая, — и старушка нежно погладила шершавую поверхность спасённой сумки. — А диспетчер телефон достал, кнопочку на ём нажал и к уху приставил. «Мама», — говорит ему сыночка мой (у него голос громкий — на всю улицу слышать), а диспетчер: «Алло, диспетчер Орлов слушает». Сашенька ему: «Полковник КГБ Федорцов!» Тут уже диспетчер: «Мама! — а сам побледнел, подаёт мне сумку и телефон: — Вас, мамаш. Так бы сразу и сказали. До свидания, — и уйти норовит. Я документ достала из сумки, ему показываю. Зыркнул, а сам всё больше на костыль косится. Пужанулс я он, ох пужанулс я.

Тут смех заглушил гул мотора, а в «КамАЗе», резво идущем по соседней полосе, водитель зачем-то включил дворники и начал осматривать себя с ног до головы.

Взятка

— Я — Зотов! — в дверном проёме выросла фигура размером с саму дверь. Декан дорожного факультета невольно пригнулся к столу, словно услышал не голос человека, а выстрел орудия с Петропавловской крепости.

— Зотов, Зотов, Зотов, — забарабанил декан пальцами по столу, пытаюсь понять, что происходит, — Зотов?

— Да! Мой Мишка у тебя на факультете учится, — сказал посетитель, проходя в просторный кабинет и снижая громкость голоса по мере приближения к столу.

— Мишка, Мишка, Мишка, — декан продолжал барабанить по столу, постепенно над ним вырастая.

— Замаялся я до тебя добираться, — чуть потише сообщил вошедший. — Уж какие сутки еду, еду, еду — говорил посетитель, придвигая стул к столу, как бы иллюстрируя это своё «еду, еду, еду».

И действительно, Зотов долго добирался в этот город из глухой деревушки, которую картографы уж давненько убрали со всех карт. И на лодке, и на «Метеоре», и на вертолёте добирался нежданный посетитель.

— А! Проходите, проходите, товарищ Зотов, — запоздало пригласил его хозяин кабинета. Посетитель бухнулся в стул и взгромоздил на стол огромные кулаки, отчего у декана факультета пробежали мурашки по мокрой спине.

— Здравствуйте, товарищ Зотов, — сказал декан, про себя подумав, что с этого и надо было начинать.

— Здорово, — почти шёпотом проговорил посетитель, оставив собеседника в раздумьях: «Зачем такая таинственность»? А у них в деревне странный стиль общения выработался. Улица-то одна, стало быть, она и центральная. И все по ней ходят. А как завидят друг друга, так и начинают общение сразу, что время-то терять? Так уж там было заведено. Метров за двести-триста начинают:

— Григорий, ты в Алёнушкин бор-то ходил вчера?

- Ну, да! Я это и был, а тебе там какого делать?
- Бруснику смотрел, только рано ещё. Не вызрела.
- Да, рановато ещё снимать ягоду.
- С недельку ждём?
- Ждём. Через недельку урожай снимаем.

— А Колька мой за вторую балку убежал, скоро будет с новостями оттуда.

Шли и разговаривали на ходу, причём, чем ближе подходили, тем тише говорили, а поравнявшись, приветствовали друг друга уже совсем тихо:

- Здорово, Гриша.
- Здравей видали.

И расходились, ни на секунду не остановившись, продолжая разговаривать, увеличивая силу звука по мере отдаления:

— А на пруду Иванушкином щука-то цепляется?

— Есть. Берёт! Ох, кровожадная к осени. Блёсны рвёт, да я из железок сам настриг блёсен, пойду завтра.

— Что-то нам государство блёсен не подкинет?

— Ишь ты! Государство ему должно. Ничего оно тебе не должно, сам кумекай. К Петьке-то москвичи в гости приехали, поди, привезли блёсны. Трое их, поохотиться прибыли. Говорят, из самой Москвы!

— Знаю. Видел. Петька гоголем ходит, разговаривать не хочет, водит их по улице нашей, отмалчивается.

Примерно так вот общаются в дальней, Богом забытой деревушке, но вернёмся в кабинет. Декан факультета, оторвав взгляд от кулаков, словно из камня вытесанных, спохватился:

— Садитесь, товарищ Зотов.

А так как Зотов уже сидел минуты две, он хорошенько поёрзал на стуле, чтобы в этом убедиться.

— Не идёт у него эта высшая математика, хоть ты что делай, — с досадой прошептал посетитель, — А ведь у него и счётные палочки были, когда маленький-то был. Я сам с ним задачки решал. Он их как орешки щёлкал. Высшая твоя математика не идёт у него, а ведь какой Мишка охотник! Как стреляет! Ты бы только видел, как он стреляет. Я его и стрельбе, и грамоте учил, у нас ведь мамки-то нет. Всё сами с пелёнок...

Декан факультета никак не мог понять в чём дело, и, выждав едва уловимую паузу в шёпоте посетителя, довольно громко и внятно осведомился:

— Я никак не пойму, товарищ Зотов, что у вас ко мне?

— А-а-а! Вот, — спохватился пришелец, и непонятно откуда на столе возник увесистый брезентовый рюкзак в потёках смолы, судя по всему, выдавший виды.

— Что это? — почти закричал декан.

— Разное здесь, — прошептал посетитель, — Орешки кедровые, брусника, клюква, грибочки всякие. Собрал всё, что было. Понимаешь, нужен

ему твой институт, мил-человек. Мишка-то башковитый, не всё же ему с ружьём по тайге мотаться, как мне горемычному. Помоги! Помоги, тебя прошу.

— Уберите, уберите, — рывкнул декан факультета, словно меж ними было метров двести, озираясь по сторонам. «Так бы сразу и сказал», — подумал пришелец, подошёл к шкафу, открыл дверцы и принялся всё расставлять на полки. У него было множество банок, склянок, пакетов и узелков, и они ловко занимали свои места.

— Всё свежайшее. Всё — вот этими руками.

При виде рук декан факультета немного успокоился. Поведение посетителя странно для декана факультета, но особенно странным ему показалось то, что этот человек ориентируется в его кабинете не хуже, чем в тайге.

— Мы, Зотовы, всё охотничаем, — спроси любого, и не было у нас инстинктов никаких, а Мишке надо, ой как надо. И что я тебе это рассказываю, ты ведь и сам всё лучше меня знаешь — вон какой умный.

Лесть не подействовала, и декан ещё строже проговорил:

— У меня лекция, товарищ Зотов.

— Так ты иди, я тут сам управлюсь, вот уж и заканчиваю. Скоро, скоро сам пойду, — сказал Зотов, аккуратно прикрывая дверцы шкафа.

— Вот ты говоришь: «Отстающий!» — сказал пришелец, хотя декан факультета молчал как щука в Иванушкином пруду, — А ты угонись за ним на лыжах или хоть без лыж. Отстающий? Ну, да я пошёл. Домой надо, а попадки к нам — ой, непростые.

— Нет. Постой-ка, братец Зотов! — декан открыл дверцу шкафа, достал стеклянную банку с кедровыми орехами, хорошенько прострелял её глазами и спросил, словно Зотов был на экзамене:

— Ответь-ка мне, Зотов, сколько орешков в твоей банке?

— Да кто же их считал! Добрый орех! С бугром насыпал, сколько уж вошло, столько и вошло.

— Вот только не надо мне этого: «Добрый орех», «С бугром насыпал», — ты мне ответь, сколько орешков вошло в эту банку? — продолжал декан экзаменационным тоном, — Ага, не знаешь!

Зотов почесал затылок.

— А то тоже мне: «Мы — Зотовы, мы — Зотовы!» — передразнил он посетителя, и, подставив ладонку к его уху, прошептал. — Здесь восемь тысяч семьсот пятьдесят три орешка.

Зотов открыл рот. «Самый высший математик!» — мелькнуло в его мозгу.

— А ты как думал? И ни при чём тут высшая математика, я, братец, не меньше тебя шишку бил. Поставь-ка её на место.

Зотов поставил банку на полку и незаметно для себя вернулся в своё русло, бочком он протиснулся в двери, и, выйдя, заговорил непонятно с кем:

— А лета-то у нас как и не бывало. Непогодь одна зарядила с дождями. Хорошо, хоть с сенокосом управились. А так ведь — хоть волком вой, — и голос его всё усиливался и усиливался.

— Мишка башковитый, он нагонит, ты только подмогни парню. Он хороший — зверя не обидит и человека, если тот не зверь.

Выходя на улицу, он уже почти кричал:

— Помоги, высший математик!

Декан факультета вытер пот со лба, посмотрел на часы и бегом ринулся на лекцию. Пробегая по коридору, он увидел в окно, что по улице никуда не спеша идут навстречу друг другу два человека, похожие как две капли воды и разговаривают. О чём? Разве услышишь. Один всё показывает на окна университета и возносит руки к небу, второй плетётся нехотя, и размахивает огромными тетрадами. Поравнявшись, они обнимаются и стоят, но декану пора бежать на лекцию.

— Счётные палочки, — хмыкнул он и не спеша пошёл дальше.

Вячеслав Софронов



ИЗ ЦИКЛА «ЩЕПА И СУДЬБА»

Мой род насчитывает пять поколений «сидельцев». Так уж сложилось. Началось всё с Николая I в 1850 г. Естественно, наложило отпечаток на меня, как на автора. Иначе не бывает. Эти строки давались с трудом, что-то близкое к исповеди. Никого не осуждаю, не виню, но и убеждения менять поздно. Да и не к лицу. Предки не поймут и не примут...

Авторское покаяние

Заранее предвижу: прочтя написанные мной воспоминания, большинство читателей, особенно моего поколения, отнесутся к ним с неприязнью. Зачем ворошить старое, почти сгоревшее. Поздно... Лучше бы о чём-нибудь пафосно-бравурном написал. Да, у нас принято говорить о былом с носталь-

гической ноткой. Так уж мы воспитаны и приучены — быстро забывать обиды и унижения. Удивительная страна, поразительные люди! И я в том числе. Точно такой же. Ничем не лучше и не хуже. Разве что памятьнее во всём, что касается несправедливости. В своё время ужаснулся, работая над собственной родословной, насчитав в моём роду пять поколений сидельцев! Пять поколений, побывавших в застенках. Тех, кто был осуждён властями, начиная с 1850 г. Не за воровство, ни за грабёж, а ... потому что повели себя так, как считали нужным. В таких случаях говорят: попали под раздачу... Когда лес рубят, летят не только щепки, но рушатся судьбы. Я не судья, чтоб осуждать или оправдывать кого-то, тем более — своих предков. Мне с трудом давались строки каждой новеллы о себе и близких мне людях. Проще было отказаться от написания. Проще, но не легче. Мне не хочется, чтоб череда сидельцев продолжилась. Может быть, этим своим покаянием мне удастся остановить этот процесс... А если попробовать разобраться в первопричине всего происходящего, то в основе лежала вновь поднимаемая ныне на щит идея всеобщего братства и равенства. Коммунистическая идея, которой пытались подменить идею христианскую и построить рай на земле. Миллионы людей поверили лжепророкам и терпеливо ждали, когда они заживут счастливо. Страдали, испытывали унижение, но говорили: вот сейчас нам плохо, а зато детям заживётся иначе. Да, я отношусь с уважением к людским страданиям, но только ни к тем, кто их спровоцировал.

Потому простите меня, дорогие читатели, за мои взгляды, воспоминания и то, что ворошу былое. Я не меньше вашего люблю свою страну, людей, меж которых вырос, жил и пока ещё живу. Но буду необычайно признателен тем, кто выудит из своих воспоминаний о прошлом то, что мешало нам просто жить без жертв, без надрыва и хотя бы без боязни за себя и своих детей. Если хоть один человек из тысячи станет думать чуточку иначе, значит написанное мной — не зря.

И последнее. Благодарен всем, кто прочтёт серию моих новелл и помолится за тех, кого нет среди нас. С любовью и почтением. Это и есть то доброе, что должно не угасать в каждом, считающем себя человеком...

Вячеслав Юрьевич Софронов — коренной сибиряк, сын репрессированных и правнук ссыльных, обосновавшихся несколько веков назад в Тобольске. Проза посвящена историческому прошлому страны Сибири, «где так вольно дышит человек». По первому образованию — преподаватель физики, со временем переквалифицировался, снимал документальные фильмы, писал сценарии, стал доктором исторических наук, более 20 лет преподавал в Тобольском педагогическом институте им. Д. И. Менделеева. Автор сотен статей и 20 книг, 10 выпущены издательством «Вече». Член Российского родословного и Геральдического обществ, Союза писателей России. Лауреат литературной премии Полпреда УрФО, международных премий «Югра» и премии им. П. П. Ершова. Занесён в Книгу почёта Тобольска, награждён золотой медалью «Василий Шукшин». Живёт в Тобольске.

Вступление ЩЕПА

Мужик с топором в руке тяжело пробирался по снежной целине, держа направление на сосновый бор, стоявший дружной, почти без просветов, стеной в стороне от санной дороги. Сосны были стройны, с густой кроной и правильными геометрически очерченными стволами. Вольные деревья, не обременённые никакими заботами, кроме как пополнение своих, правильно поднимавшихся вверх от земли, соков. И сейчас, глядя с высоты своего могучего роста на маленького мужичка с топором в руках, они и не догадывались о его замыслах.

А тот, добравшись до кромки лесного массива, нацелился на стоящую особняком сосну, задрал голову вверх, прищурился, обошёл её вокруг, похлопал, словно свою бабу по крутому округлому боку и одобрительно крякнул. «Пойдёт... — сказал сам себе, — пойдёт для начала...» Затем он скинул на снег полушубок, двумя руками взял хищно изогнутое топорщице, прицелился чуть выше комля и неожиданно вонзил стальное лезвие своего орудия в ствол. Дерево даже не вздрогнуло, не почувствовав угрозы для себя и лишь небольшие комочки снега посыпались с ветвей вниз, на голову мужика, словно хотели предупредить о чём-то... Но тот и не заметил снежной пыли, поскольку раз за разом вонзал топор в ствол, делая тонкий, но смертельный для дерева заруб вначале на одной стороне, а потом точно такой же — на другой. От каждого рубящего удара из всё увеличивающейся расщелины вылетали тонкие пласты пока ещё живой сосны и падали здесь же, рядом, на снег. Щепа... Она неизбежна, когда железный инструмент, находящийся в человеческих руках, соприкасается с деревом.

Дерево же терпеливо сносило волю человека, задумавшего пустить в дело красавицу-сосну, судьба которой была предрешена с самого её рождения. Когда зарубки с той и другой стороны почти сошлись, мужик вырубил шест, упёрся им в ближний сук, поднатужился и ... по всему стволу пробежала судорога, конвульсия, оно начало клониться, сперва чуть заметно, а потом всё шибче и шибче и покорно, громко ухнув, рухнуло на снег. Мужик же, чуть передохнув и выкурив сигарку, прошёлся вдоль ствола, обрубил ветки, торчавшие местами сучья, а потом и вершинку, словно снял скальп со своей жертвы. Обезображенный ствол продолжал оставаться красивым, хотя и был оголён до неприличия, но уже не был деревом, став бревном, обрубком, сутунком...

Мужик же тем временем привёл по натоптанному следу лошадь с санками, забросил, тяжело и надрывно пыхтя, на санки ствол и крепко закрепил его пеньковой верёвкой, понукал лошадку. Та дёрнулась, налегла на передние ноги и мелко ступая, потащила санки к дороге. На снегу же остались некогда разлапистые ветви и множество свежерубленной щепы, которая летом почернеет под солнцем, потом покроется слоем пыли. Пройдёт год, а может чуть больше — и от неё не останется и следа.

...Судьба каждого из нас чем-то похожа на участь предназначенных для строительных или иных дел деревьев. Кто-то там, свыше, распоряжается достигшим юного возраста подростком и, изъяв из привычной домашней среды, обрабатывает на свой манер, при этом делая ребёнку больно, оставляя неизгладимые шрамы-зубины в его душе и кучу щепы, как следствие педагогическо-воспитательного процесса. Ставши взрослым, человек обычно забывает о тех частичках, что у него отняли, чтоб сделать иным, пригодным для общественной деятельности существом. Иные вообще не помнят, какие изменения они претерпели, пока их готовили к иной жизни. А кто-то те щепочки, в воспоминаниях своих хранит до конца жизни. Словно первый срезанный завиток волос своего первенца. Но каждый из нас вынужден был пройти через процесс правки, обработки, подгонки под общий стандарт. Без этого воспитательный процесс в нашей стране был невыносим. И я не верю тем, кто считает, что с ним обошлись бережно и правильно. Без боли подобное не происходит. Потому и назвал небольшой сборник новелл «Щепа и судьба»: мои давние щепочки-воспоминания до сих пор живы, и хочу, чтоб о них узнали те, кому они интересны.

«Товарищ Сталин, вы большой учёный...»

В то время я ещё не знал этих строк, так и хочется добавить, — «бессмертных», тем более их автора. Но когда в перестроечные годы его книги стали появляться на московских привокзальных лотках, подземных переходах (в магазины их поначалу не желали допускать), купил и перечитал почти все. Не скажу, что он (Юз Алешковский) оказался близок мне по стилистике и образу подачи, но... что-то в нём было магнетически-притягательное. Судить не берусь. Во всяком случае меня с ним объединяло отношение к недавнему прошлому и личностям вождей того времени.

...Так повелось, но в моей семье среди старшего её поколения не было людей из числа «партийцев». Ни до ТОГО, ни после. И, дай бог, не будет. Есть на то причины. Не отнесу эту беспартийность ни к особым заслугам или прямому несогласию с линией той самой партии. Но любым руководством тогдашняя беспартийность воспринималась как вызов общественности, строю и вождям. Иметь собственное волеизъявление, жить по собственному разумению и не примыкать к верхушке власть имущих, в прямом смысле вершивших судьбы своих подчинённых — какой же нормальный человек мог по доброй воле отказаться войти в этот круг избранных! Только враг. Причём скрытый. Беспартийность считалась чем-то наподобие клейма, чёрной метки, и карьерного роста те «отщепенцы» не имели. За редким исключением. Но, что интересно, насколько помню, у моих беспартийных родственников были и друзья, причём немало. И они наверняка не принимали существующую власть партийной элиты, оставаясь, как шутили, сочувствующими. Но

вот кому они сочувствовали, то большой вопрос... А потому какой-то там изоляции в своём юном возрасте да и потом — не ощущал и лишь много позже стал задумываться о взаимоотношениях моих дальних и близких родственников с существующей властью. И по крупинкам собирал, воспроизводил картину послевоенной поры.

...Случилось это незадолго до начала моего школьного образовательного процесса. Папа к тому времени уже отсидел положенные два года в нашей же городской «крытке» (каторжной тюрьме) за то, что, будучи капитаном, изловил у себя на пароходе вора и не сдал его властям, а несколько иным способом объяснил тому, что воровать нехорошо. Тот оказался человеком опытным и заявил «куда следует». Когда судно вернулось из рейса, на тобольском причале его уже ждали люди в форме. Ему припаяли два года за самоуправство и недоносительство. По известной статье. А шёл ему двадцать третий всего-то годок...

«Большой учёный» представился 5 марта 1953 г., а папа получил справку об освобождении в аккурат 8 марта того же года. Уж не знаю, совпадение такое знаменательное вышло или подпал под амнистию. Но и та и другая даты для меня — два слитых воедино праздника. Так вот, именно в эти годы, когда шло решение на всех уровнях, действительно ли покинувший нас (похоже, не навсегда, а иным чудится, что он и сейчас где-то рядом бродит и только ждёт своего часа), не только большой учёный, но ещё и гений всех времён и народов, достоин именоваться «великим». И стоит ли продолжать выбранный им курс или... Все эти прения и нескончаемые восхваления транслировались с утра до вечера через висевший в каждом доме репродуктор. Этакий облепленный чёрной бумагой диск, был прикреплён в углу, где раньше было принято держать образа. И какая-то из этих фраз особенно врезалась мне в память, а потому, желая продемонстрировать свою политическую грамоту и осведомлённость, я ходил по комнате, ожидая кого первым можно ей ошарашить, раз за разом повторяя дикторские слова и, конечно, без лишней скромности восхищаясь при том собственной памятью. Первым в комнату вошёл папа. Он, как обычно, обедал дома, а потому спешил и не особо желал слушать, чего я там припас к его приходу. Но мне непременно требовалось высказаться и показать свою осведомлённость в том, что волновало обычно исключительно людей взрослых. А потому кинулся к нему с превеликой радостью и повторил врезавшиеся в память дикторские слова: «Папа, а товарищ Сталин, сказал....» Договорить заготовленную фразу отец мне просто не дал. Его словно током ударило, когда он услышал это имя, а потому бестактно перебил меня и задал ехидный вопрос: «И давно он тебе стал товарищем?» Я, естественно, растерялся, потому как смысл слова «товарищ» был мне хорошо известен. Но тогда что же получалось?... Я быстро сообразил, в чём подковыка отцовского вопроса. Получалось, человек, о котором так часто говорили с утра и до позднего вечера по радио, (однако в

кругу семьи мне ни разу не приходилось слышать от кого-то из близких его имени), отцу «не товарищ»?! А как же мне быть? И что из того следует? Получается, что он далеко не для всех «товарищ»?! Например, для моего отца, а, значит, само собой и для меня тоже. То была первая в моей жизни политинформация, смысл которой был воспринят мной раз и навсегда, и менять своё отношение к этому, с позволения сказать, человеку, хотя, на мой взгляд, ни одно из обычных человеческих качеств ему было попросту неприсуще, не собираюсь до конца своих дней. Какие бы аргументы в его защиту и исключительность не приводили. Уважение к родителям, а, следовательно, и к их опыту и образу мыслей, предписано ещё с ветхозаветным времён. И мне ли, сыну своих родителей, оспаривать его...

Вот потому, сколько бы сейчас отдельные «товарищи» не били себя в грудь, доказывая о победах и заслугах «вождя всех народов», для меня товарищем он никогда не станет, как и все те, кто считает его таковым.

И совсем она не колючая... эта проволока...

Родословные корешки моего деда крепко зацепились за древние вятские земли и, хотя родители его покинули родную Кукарку задолго до его рождения, но земля та давала знать о себе и за тысячу вёрст от места всхода семени, с неё увезённого. А отлична та земля тем, что каждый вятский мужик с топором обходится гораздо сноровистей, чем скажем, с ложкой. Да та же вятская игрушка, она едва ли не всему свету известна. Что тут ещё скажешь. И потому работники вятские хаживали пешим ходом на заработки по всей необъятной матушке-Руси, оставляя свои затеси едва ли не в каждом сельце, куда их судьба забрасывала. Бывало, что и до сибирских острогов и зимовий добирались. Вот и дед мой оказался в самую разбитную пору гражданской войны в Забайкалье, где сумел-таки закончить горное училище и обзавестись дипломом спеца по землеустроительным и топографическим работам. Тоже строил, только уже вычерчивая разные земельные чертежи и планы. И зашагал он широко с геодезической рейкой на одном плече и теодолитом — на другом. Сперва по Уралу, потом по Сибири, а там и на Ямале оказался уже женатым, при детях и без постоянного угла. Один год в один район направят, а как все работы проведёт, — ещё дальше. Пока до самого берега Карского моря не дошагал, а дальше уже пешему человеку хода нет... Может, потому в жуткую пору репрессивного беспредела и миновала его лихая судьба, заканчивающаяся обычно штампом в личном деле: «Без права переписки». Вроде бы пронесло. А там и война с Германией за власть Советскую. Угодил не в штрафбат, а на «трудовой фронт» или как это ещё называли «трудармия». Где-то под самым Питером шанцевым инструментом орудовал. Тоже штрафники, только оружия им в руки не давали, а лишь кайло или лопату. Обычно в такие части брали репатриированных немцев с Поволжья или иных поли-

тически неблагонадёжных. Может, та самая беспартийная принадлежность, а то и вольные высказывания, сообщённые «куда следует» верноподданным соседом или сослуживцем сыграли свою роль. Судить не берусь... Не удалось мне и у самого деда спросить, в чём именно он ненадёжным показался Советской власти, да вряд ли он мне, мальцу, сумел бы толком объяснить ту свою ненадёжность. Но солдатский рядовой паёк семье платили, значит какая-никакая вера ему, а была. На том и держались... Без пайка совсем бы худо пришлось моему подростку-отцу и его малолетнему брату, оставленным на попечении матери, моей будущей бабушки-учительницы. Ждать дня Победы без особой надежды остаться в живых. На второй год признали у деда неизлечимую болезнь и комиссовали подчистую. В теплушке до Тюмени почти месяц везли, а оттуда за два дня прошагал до Тобольска — без сна и остановок. Видать, вятский корень и землемерская закалка не подвели, в очередной раз выручили рядового бойца. Дошёл до дома — и напрямиком на операционный стол. Залатали, зашили, определили на службу в местный отдел земельного устройства. И опять всё с той же мерной рейкой — по полям и перелескам Тобольского плоскогорья. Но теперь хоть надолго от родной семьи и домашнего крова не отрывался. Так, глядишь, и доработал бы дед мой до пенсии, если бы кто-то из сослуживцев не позавидовал его неукротимости и отчаянному труду даже во время отпуска. Оказывается, во время отпуска всем, кто на государственной службе состоял, полагалось дома сидеть или чем иным заниматься, но только не работой. А дед мой ещё и других, кто помоложе, привлекал этим делом заниматься, чтоб лишнюю прибавку к жалованию получить за счёт неурочной работы. Когда их «подпольную организацию» разоблачили, то кто-то из шибко сердобольных показал, что дед как-то по доброте душевной разрешил вдове умершего их ветерана-работника подводу дров увезти из поленницы, предназначенной для печей госучреждения. Кому какое дело, что малые дети вдовы той могли преспокойно от сибирского холода помёрзнуть. Кража госимущества! Вредительство! А как иначе... Прокурор за такое самоуправство отмерил срок аж в 12 лет! Адвокат напирал на безупречную службу и на дедову инвалидность, как я потом из судебного дела, в архиве мной обнаруженного, узнал. Помогло, но не очень. Удалось лишь четвертинку срока отщипнуть. Результате вышел, всё одно, весомый — 8 годков лагерей. Может, и то сказалось, что отец мой, дедов сын, в то время свой срок отбывал. Всего два годка за самоуправство с поимкой вора на судне. Пусть малый, но всё одно — срок. Яблоко от яблони, как не крути, а всегда рядом ложится. Наверняка и о том помянули на суде, мол, налицо семейка врагов народа. Хоть и мал был, но помню, как пришли за дедом двое служивых при винтовках, а он в это время за домом сидел. Ждал, видать. Конвойные мужики в дверь стук-стук... Бабушка на порог вышла... И говорит тем, с ружьями на плечах: «Мужа дома нет, приходите позже». Хотела, значит, оттянуть минуту расставания.

А я, несмышлёныш, как раз во дворе играл, решил знайство своё показать и ляпнул: «Бабушка, ты, наверное, не знаешь, дедушка на лавочке за домом сидит...» Куда тут деваться, забрали деда, увели... Ни слова тогда бабушка мне не сказала за ту правду мою. Но вот я то её до конца жизни помнить буду. На то она и правда, что с какого бока не глянешь — а всё разная. Вот только двух одинаковых правд мне видеть ещё не приходилось. Потому иной раз и не знаешь: промолчать или рассказать всё, как есть... Тут каждый должен сам за себя решить и носить в себе то своё решение, сколько на земле проживёшь...

Не могу назвать точно год той очередной семейной трагедии, да и что он даст. Они в ту пору все одного цвета были — серые, один на другой похожие, не один праздник их краше не делал. Но вот после смерти вождя народ вроде бы как оживился, смелее говорить начали, без прежней опаски, но всё одно с оглядкой. Появилось новенькое словечко — «амнистия». Видно, бабушка об эту пору и написала письмо — да ни кому-нибудь, а напрямик самому Климу Ворошилову. И ведь помогло! Пришла телеграмма с багровыми буквами по всему тексту: с левого нижнего угла на верхний правый: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. Не в каждую семью, где такое же горе жило-обитало, почтальон приносил с трепетом в руках такую грамотку, почитай, что царскую. Но это ещё не праздник, дед всё одно в лагере на казённых харчах свой срок отсидживает. Не скажу, зачем и с какой целью, но ждать пока там власти во всём разберутся, бабушка не стала. Не смогла. Характера она была отчаянного и, если что решила, делала сразу и мигом. И в день собралась в поездку. И меня с собой прихватила. А было мне тогда пять или шесть лет. Надеялась, власти к ребёнку отнесутся с большим вниманием, нежели к ней, жене обычного заключённого. Сколько их тогда возле лагерных ворот через заборные щели смотрели внутрь сталинских казематов. Не счесть. Три дня мы плыли до Тюмени на пароходе. Потом паровозом, половину пути на крыше вагона. Внутри мест не было. Вся страна словно с катушек сорвалась и поехала, покатила — кто куда. Добрались до Екатеринбурга. И, хотя великолепно знаю, как он в ту пору назывался, но лишний раз повторять фамилию того, кто раскатал Русь по брёвнышкам, обратил в пепел, не хочу и не стану.

Но самое кошмарное началось на привокзальных путях, где составы стояли без всякой нумерации многослойной гусеницей и отправлялись по третьему свистку без всяких объявлений по громкоговорителю, которых или не было, или они, как водится, просто не работали. Наш поезд стоял на семнадцатом пути и подступиться к нему не было никакой возможности, потому как то один, то другой состав приходил в движение и нужно было переждать, пока вся вереница вагонов утомительно медленно прогрохочет перед тобой. Шустрый народ мигом приноровился к этой несусветной путанице и полез напрямик под вагонами, таща за собой узлы, чемоданы, маленьких детей, рискуя попасть под колёса начавшего двигаться состава. Бабушка последовала их примеру и потащила меня за собой. Иногда по

несколько минут пережидали, когда пройдёт соседний поезд, надеясь, что наш не тронется. Тут мне, наверное, впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Но молчал. Даже закричи я тогда в голос, кто б услышал? Чем бы помог? Бабушку напугал бы, только и всего. Потому на четвереньках, а иногда и ползком пробирались чуть не час через всю эту железнодорожную катавасию, пока не оказались возле наших теплушек, сцепленных вместе четырёх вагонов.

На полу солома, пассажиров всего несколько человек и все бабы с узлами и баулами. Молчаливые и неразговорчивые. Ехали недолго, всего одну ночь, а к обеду уже оказались на небольшой станции, где нас встретил военный патруль и указал, куда идти в сторону лагерных ворот. Я глянул на бабушку: всё лицо в копоты, хоть и протирала его несколько раз платком. А половина волос почему-то вдруг стала белой. Думал, отмоются волосы, тоже испачкались, но те седые прядки так и остались у неё — воспоминанием о поездке на свидание к мужу.

Сам лагерь находился в горах, меж двух сопок, и всего 4-5 барак-полуземлянок для зеков, наверняка числом не более двух сотен. При входе у лагерных ворот меня впервые в жизни обыскали. Полушутя хлопнули рукой по груди, по животу и чуть выше колен спереди, а потом проделали тоже самое, заставив повернуться спиной к охраннику. Велели ждать возвращения отряда с работы в какой-то избушке и по территории не ходить. Прошло час или два, и со стороны леса послышалось непонятное побрякивание. Выглянул в окно и увидел вереницу одинаково одетых людей, что медленно, по трое в ряд шли к наполовину открытым воротом. Бабушка не успела схватить меня за руку и я выскочил из избушки, побежал туда, к серой людской массе, надеясь, что сейчас меня подхватит на руки дед. Но лагерная овчарка так злобно рывкнула на меня, что на какое-то время потерял речь и потом ещё долго с трудом выговаривал буквы. Следом подбежала бабушка, поймала меня за руку, прижала к забору, велела стоять и не шевелиться. Деда я узнал исключительно по улыбке: до того он был худой и какой-то весь почерневший, обугленный, но его голубые глаза смеялись и он, незаметно для охраны, кивал мне головой. И здесь каждого заключённого несколько охранников так же, как и меня, тоекратно хлопывали, но только двумя руками. Делали они это так неуловимо быстро, будто сбивали невидимую грязь и пыль с арестантских телогреек и те делали шаг вперёд. Меня буквально заморозило и это зрелище отлаженной работы рук одних и снисходительный взгляд сверху вниз других, обыскиваемых. Было во всём этом что-то магическое, театральное, когда один человек заботливо ощупывает другого. Деду подойти к нам сразу не разрешили. Встретились в столовой, где меня почему-то привлёк здоровенный повар в большом белом колпаке на голове и с огромной поварёшкой в здоровущих волосатых руках. Я, надо полагать, тоже ему понравился, потому как он широко мне улыбался и постоянно под-

мигивал. Заметили это и другие заключённые и что-то шепнули деду, он зло отмахнулся, а мне строго велел смотреть в другую сторону и от него потом никуда не отходить. Мне же повар показался вполне безобидным и даже настроенным дружелюбно, о чём и попробовал сказать деду. В ответ на это он ответил, что глупые, доверчивые мальчишки могут легко попасть в поварской котёл, и никто их никогда не найдёт.

Потом нам втроём разрешили прогуляться вдоль лагерного забора, в изоляции увитого колючей проволокой. Я осторожно тронул её пальцем и от боли отдернул руку. До того шипы у неё были острые. А дед покровительственно посоветовал: «Ты варежку на руку надень или набрось чего сверху, тогда она колоться и не будет... Или уж терпи, коль мужик...» Я не понял тогда этот его совет, но потом, через много лет, воспроизводя раз за разом в памяти эту его фразу догадался: любая колючка страшна, если будешь хватать её голой рукой, с маху. Но уж если попал за колючую проволоку, не хнычь и вида, что тебе больно, не показывай. Боль вещь временная. Надо лишь сперва перетерпеть, а придёт срок — и свыкнешься с любой болью, привыкнешь, словно и нет её вовсе.

А дед той же осенью вернулся домой и первым делом ободрал колючую проволоку на заборе, которую зачем-то прилепил туда наш сосед, наверное, чтоб разделить наши участки. Сосед, видевший это самоуправство, ни слова не сказал. Тем более, как узнал много позже, он тоже ставил свою подпись под письмом тех «сознательных товарищей», обвинивших деда во внеурочном приработке и отпущении без положенной накладной дров неизвестной мне вдове.

Колючая проволока — не самое страшное испытание в жизни, главное, чтоб она внутри тебя не проросла, отделив от другого мира острыми шипами...

Муки писательские

Кто бы что не говорил, но речь дана нам не только для общения. Передавать информацию можно жестами, мимикой, свистом и ещё массой других способов. Но речь — это божественный дар, и каждое наше слово обращено к Богу. Слова, облечённые во фразы и занесённые на бумагу, становятся, по сути своей, бессмертны. Они переживут автора, оставившего после себя самое ценное в этой жизни — собственные мысли... Вряд ли я думал об этом, когда только научился выводить свои первые детские каракули. Не знаю, когда именно передача на бумагу знаков, складывающихся в слова, предложения, стало для меня столь же естественным, как дышать, думать, есть и пить. Священнодействие письма завораживало, очаровывало и несло в себе таинство. Человек с пером в руке — это не просто человек, а волшебник, чернокнижник, маг. Писать слова — это как вызывать духов. Священный обряд. Если раньше первобытные люди царапали на скалах изображения животных

и поклонялись им, то теперь мы поклоняемся мыслям, что рождают гении. Когда я узнал значение букв и научился оставлять на бумаге свои слова, то мной овладело желание обозначить, запечатлеть каждый свой поступок и дремлющее во мне желание что-то совершить, исполнить. Неважно, что назавтра они забывались, сменялись другими, но бумага стала моим посредником между мечтами и реальностью. Главная беда состояла в том, что мысль не поспевала за пером, за движением руки. Слишком мало чернил захватывало металлическое перо и уже на второй-третьей букве его нужно было вновь обмакивать в чернильницу. Одно предложение требовало связи с предыдущим, трудно было подыскать нужные слова, а ещё труднее — написать их без ошибок. Моя грамотность была низка и, если честно, меня этот факт нисколько не волновал. Главное, что медленно, очень медленно чистый лист покрывался буквицами и, добравшись до середины тетрадного листка, я уже изнемогал, словно переколот поленицу дров. Потому самым страшным уроком для меня было чистописание, где от нас требовали каллиграфичности, а тех, кто выдавал в тетрадке немислимые каракули — нещадно стыдили, и выражение «как курица лапой» прочно пропечаталось в моём мозгу.

Невелик был и запас используемых мной слов: «пошёл, увидел, сказал; дом, школа, магазин». Ещё имена друзей и знакомых. В результате получалось: «Встретил Вову», «Ходил в школу», «Играл с собакой». Да, не очень-то высокого пошиба творчество рождалось из-под моего пера. Но это было моё творчество, без нажима с чьей-то стороны, добровольное, самостоятельное...

Наиболее неординарными были описания совместного возвращения из школы меня и моей соседки по парте, жившей неподалёку. Естественно, при всей пылкости своей натуры, я был в неё тайно влюблён и если бы на тот момент обладал определённым запасом требуемых слов, фраз, образов и, главное, мужества, решительности, то наверняка бы посвятил ей не один десяток стихов, а то и поэм. Может быть, так бы оно со временем и случилось, если бы судьба в лице моего отца не провела меня без великих потерь мимо участи лирического поэта.

Свои записи я тщательно прятал под стопку старых тетрадей, наивно надеясь, что никому до них дела нет. То была не просто наивность, а детская философия, из которой вытекало, что всё написанное лично тобой принадлежит исключительно тебе и для других глаз не должно быть доступно. Как же я был неправ и потому наказан самым жестоким образом, да так, что те давние переживания нет-нет да и вспыхнут с новой силой, и уже в зрелом возрасте кровь непроизвольно прихлынет к щекам, и вновь в который раз испытаешь то давнее чувство неловкости и... стыда.

Так вот, однажды возвратись из школы, я был поражён громкими взрывами смеха, что неслись из кухни, где находились отец и мать. Больше в доме никого не было. Я даже обрадовался, что у родителей такое хорошеет на-

строение, значит не будут спрашивать, где задержался, проверять дневник. Поначалу я решил, что папа читает вслух очередную выдержку из журнала «Крокодил», что был тогда главным пристанищем советских юмористов, не считая, конечно, анекдотов, что рисковали рассказывать далеко не в любой компании. Но потом, прислушавшись, к ужасу своему понял, что папа зачитывает выдержки из моего дневника. Меня кинуло в жар, промчался, не раздеваясь, в свою комнатушку за занавеской и упал лицом вниз на кровать. Не помню, плакал ли я тогда или просто изрыгал беззвучные проклятия и при этом сгорал от стыда. Тогда мне впервые в жизни мне было так стыдно. Да, стыдно и неловко, словно совершил что-то непристойное, чему нет прощения. Захотелось убежать из дома и не возвращаться обратно. А вот войти на кухню, забрать свой дневник, сказать родителям что-то обидное, мол, нехорошо, некрасиво читать чужой дневник, у меня элементарно не хватило мужества. Не буду скрывать, я боялся родителей. Не за то, что накажут, поставят в угол, то было привычно и обыденно, если заслужил, а потому что пришлось бы открыть свою главную мечту — составлять из слов фразы. Меня наверняка бы обозвали Пушкиным или Толстым, а получить такую кличку — и того хуже. Потому я просто сделал вид, что ничего не произошло, и я не заметил исчезновения своего дневника. Когда же он в моё отсутствие появился на том же самом месте, где и лежал, я тут же сжёг его. И никогда больше дневники не писал. Или даже что-то, связанное с преданием бумаге собственных мыслей, не говоря о чувствах. Не хватало смелости. И ещё — во мне поселилась боязнь быть публично высмеянным, хотя родители ни словом не обмолвились, что стали первыми в жизни читателями моих «сочинений».

Следующие десять лет, а то и больше, я не писал ничего кроме стандартных, заданных по программе школьных сочинений, опять же стараясь использовать не свои фразы, не то, о чём думал, а брать их из учебников, газет, откуда угодно, но только не свои. Может, оно и хорошо, что тем самым пережил пору графоманства, которой болеют все без исключения, как коклюшем или скарлатиной. Не думаю, что родил бы в пору своей юности что-то экстраординарное. Но зато понял, что занятие магией слова чревато ответственностью за каждое написанное тобой слово. Рано или поздно за него придётся ответить, и уже не перед родителями, а перед всеми, кому в руки твоё сочинение попадёт. И самое главное: твои слова, как и мысли дойдут до Бога. Что ты обозначишь на бумаге, то рано или поздно получишь в ответ. И добро и зло, выплеснувшееся из тебя, будет жить где-то поблизости. Вот потому к слову и нужно относиться не только бережно, но и с осторожностью. Магия слова — это реальность...

Дмитрий Сергеев



МУЗЫКА ЛЕТНЕЙ НОЧИ

ЦЕНИТЕЛЬ

От того и не пишется, что
Потерялся мой верный читатель.
Беспокойный, ершистый, зато
Был в душе он поэт и мечтатель.

Всё звонил — не противник,
не друг —
Разглагольствовал, спорил,
ругался,
И, насытившись критикой, вдруг
Он удачной строкой восхищался.

Я писал, зная: рядом живёт
Неотступный суровый ценитель,
Что и за миллион не соврёт,
Но нашёл он другую обитель.

Не оставил и адреса мне,
Уезжая в туманные дали,
И теперь в своей новой стране
Он меня прочитает едва ли.

ГРУСТНОЕ

Жизнь отнимает годы безвозмездно.
Мой дом — из брёвен,
с мебелью простой,
А за окном — космическая бездна,
С её холодной чёрной пустотой.

Во мраке звёзды россыпью искрятся,
Но все они безмерно далеки.
В сознании мысли грустные гнездятся,
Их не смахнуть движением руки.

Уходит мир, который был мне дорог,
Где пустота сменила суету,
От всей Земли остался лишь пригорок,
И на пригорке — яблоня в цвету.

ДИЛЕММА

Хлопотать о насущном хлебе,
Добывать вожделенный трон?..
Видел я, как гоняет в небе
Птицу-ястреба стая ворон.

Дмитрий Алексеевич Сергеев (1956 г.р., Донбасс). Служил в Германии, закончил исторический факультет Донецкого университета. Переехал в Сургут (1984). Работал в школе, в системе МВД, в СМИ. Член Союза журналистов России (1994) и Союза писателей России (2002). Автор 14 книг и около 200 литературно-художественных публикаций в периодических изданиях. Пишет стихи, прозу, краеведческие материалы. Проживает в Тюмени (с 2015).

Подниматься ночами к звёздам,
Зарываться в земную твердь,
Разрушать родовые гнёзда,
Ничего своего не иметь?

Знаю я, как возводят срубы,
Видел я, как они горят,
Слышал, как отпевают трубы
Жизнь, прошедшую в муках зря.

За мираж в облаках пластаться,
Убивать на чужой войне,
Навсегда при своих остаться —
Всё равно отдавать вдвойне!

МУЗЫКА ЛЕТНЕЙ НОЧИ

Огненной иглою прошивает
Небеса стремительный болид.
Ночь такая чудная бывает!
И душа не ноет, не болит.

Ветер заплутал в древесных кронах,
Из ветвей не выбравшись, уснул.
И вокруг — ни шороха, ни звона.
Месяц в чёрной бездне утонул.

На губной гармошке я играю,
Мысленно читая новый стих.
Ноты я слегка перевираю,
Впрочем, дело, в общем-то, не в них.

Хорошо под звёздами на даче,
В кресле на некошеной траве.
Я себя здесь чувствую иначе,
И такая ясность в голове!

ГРАНИЦА

...А города из детства больше нет.
Он и ночами в чёрном цвете снится.
Из окон в сумерках не льётся
яркий свет,

Лишь пепел на сухом ветру кружится.

Дворы пустеют. Кто сумел, бежит.
Сидеть в подвалах вечно невозможно.
Теперь спокойно дня
нельзя прожить —
Ведь даже если тихо, то тревожно.

Разбитый дом. Разрушенный базар.
На фоне солнца абрисы развалин.
А где недавно буйствовал пожар,
На серых стенах — живопись опалин.

Те, что остались, время торопя,
Надеются: бывшее возвратится.
Но пролегла по судьбам и степям
Невидимая страшная граница.

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Не ходи ты за мной по болотам,
Неотступная тихая грусть.
Мне б — на родину,
нынче тепло там.
Здесь же завтра мороз — ну и пусть!

Ведь судьбы своей не выбирают.
Я, как все, в этой жизни лишь гость.
Наклоняясь к земле, набираю
Кислой клюквы рубиновой горсть.

Обхожу порыжевшие кочки,
Под ногами сочится вода.
Словно ямба короткие строчки,
Пролетели в Приобье года.

Пронеслись, промелькнули:
да что там!..
Всё, что прожито, было не зря.
Что ж ты бродишь за мной
по болотам,
Золотая тоска сентября!

Как невзначай скользнувший
беглый взгляд,
Он — символ исторических исканий,
Воздвигнутый так много лет назад.

На полотне серебряные блики
Не гаснут. Но сильны ветра времён.
И остаются от эпох великих
Развалины да отзвуки имён.

Леонид Иванов



ПОРТРЕТ ПО ПАМЯТИ

Антон поднялся с пола, встал на колени, пробрался к окну. Над лесом лениво поднималась большая почему-то ярко-рыжая, круглая луна. Лицо её было немного наклонено вправо, хорошо были видны крупные глаза, нос и язвительная улыбка. Луна будто насмеялась над беспомощным состоянием художника. От полутора метров проделанного на коленях пути на лбу проступила испарина, подташнивало. Все запои заканчивались у Антона одинаково, потому в этом жалком состоянии не было ничего нового. Надо было просто хотя бы немного выпить, чтобы снова завалиться спать. Опи-

Леонид Кириллович Иванов (1949 г.р.) — автор 20 художественных и нескольких книг документальной прозы, лауреат международных и всероссийских литературных премий, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Родился в местечке Озерки (Вологодская обл.), в семье сосланных финнов. После окончания сельской восьмилетки работал сплавщиком леса, дровосеком, рабочим на строительстве ЛЭП, заведовал сельским клубом. В 17 лет с 8-ю классами образования и несколькими написанными рассказами принят литсотрудником в районную газету «Волна» (Вологодская обл.) и с тех пор занимается журналистикой. Работал в районной газете, на областном ТВ, в администрации области, полтора десятилетия — собственным корреспондентом газеты «Труд», пресс-атташе Тюменского нефтегазового университета, главный редактор литературно-художественного альманаха «Врата Сибири», ответственный секретарь Тюменского регионального отделения Союза писателей России (с 2014), заслуженный работник культуры РФ. Тексты печатались в литературных журналах и альманахах «Наш современник», «Дорога жизни», «Север», «Karelia», «Врата Сибири», «Югра», «Проталина», «Бийский вестник», «Огни Кузбасса», «Чаша круговая», «Огни над Бией» и др. Живёт в Тюмени.

раясь на подоконник, встал, нетвёрдыми шагами прошёл к столу. На нём, кроме пустого стакана, ничего не было, зато у стены стояли и валялись несколько пустых бутылок. Держась за стену, чтобы не упасть, вышел в сени, через распахнутые настежь двери мелкими шагами, едва перешагнув высокий порог, с крыльца спустился на лужайку, открыл машину. В багажнике начал рыться в сумке, нащупал прихваченную ещё дома поллитровку, тут же открутил пробку, прямо из горлышка сделал несколько крупных глотков. Несколько минут постоял, закрыв глаза, будто прислушиваясь к своему организму. Вытер со лба пот, мутным взглядом посмотрел на луну. Она уже успела подняться над кромкой леса, из рыжей превратилась в обычную бледно-жёлтую, но продолжала так же ехидно улыбаться. Судя по тому, что в сумке эта бутылка была последней, приехал Антон в родительский дом несколько дней назад. Перед поездкой он снова, в который уже раз за последнее время, крупно повздорил с женой. Началось, как обычно с какого-то пустяка, какого именно, он и не вспомнит. Потом он заявил, что хочет на месяц съездить на родину, где не был уже два года, навести прядок на кладбище, провести друга детства Пашку, поработать в тишине и покое, где никто не будет отрывать телефонными звонками и визитами в мастерскую, которые непременно заканчивались очередной пьянкой, иногда растягиваясь на несколько дней. Алиса эти его поездки в деревню почему-то каждый раз встречала в штыки. Она, воспитанная в городской интеллигентной среде, защитив докторскую диссертацию по искусствоведению, прилагала немало усилий, чтобы вытравить из него деревенское происхождение. Он, как мог, этому сопротивлялся и каждый год месяц, а то и два проводил в пустующем родительском доме, где находил покой и умиротворение, и писал несколько новых работ.

— Что тебя туда тянет, в эту глушь? — недоумевала Алиса. — Хочешь уединения? Запрись в своей мастерской, отключи телефон, не отзывайся на домофон и работай себе хоть круглые сутки.

Что тянуло в деревню, Антон объяснить не мог. Что-то бормотал про энергетику родных мест, про зов природы, но было это всё очень не убедительно, и потому раздражало Алису. Сама она была там только раз, вскоре после свадьбы, а потом находила веские причины, чтобы отказаться от поездки. Не поехала и на похороны свекрови, с которой отношения так и не сложились. В этот раз ссора из упрёков, что он вместо того, чтобы вместе поехать на море, он опять пойдёт в свой медвежий угол, перешла в обвинение, что как был деревенщиной, так ею и остался, и потому ему комфортнее быть с тупыми необразованными односельчанами, чем с интеллигентными отдыхающими санатория управделами Администрации Президента, куда Алиса сумела забронировать два места на самую середину лета.

— Меня тошнит от этих самодовольных чинуш, которые там соберутся, — заявил Антон.

— Ну, и общайся со своими безграмотными трактористами и доярками! — вспыхнула Алиса, — коли тебе тошно быть с представителями правящей элиты. Там, между прочим, можно завести полезные знакомства и получить приличные заказы на портреты.

— Этих чинуш ты называешь элитой? — загорячился Антон. — Ты ещё приплети к ним разных бузовых и толстопузовых. А от портретов в царских одеждах и в дворцовых интерьерах меня давно тошнит. Эти, кого ты называешь элитой, просто самодовольные амбициозные лицемеры. На их фоне те, кто заказывает свои портреты, на которых они с телами львов, ланей или стеллеровой коровы, просто непревзойдённые эстеты, но меня одинаково воротит от тех и других.

— По крайней мере, они ходят в театры, читают книги, не пропускают выставок модных художников. Они живут насыщенной духовной жизнью. И я вообще не понимаю, чем живут эти твои колхозники!

— Трудом, милая, они живут. Непосильным трудом. И нас, между прочим, снабжают продуктами, которые мы в магазине покупаем, хотя колхозов уже давным-давно нет.

— Я не о том, за что они зарплату получают. Я о том, чем они духовно живут.

— Да духовно они в сто раз богаче твоих представителей так называемой элиты. Прежде всего, они честны перед собой и друг перед другом. Не хитрят, не изворачиваются, не врут на каждом шагу, а если что обещают, обязательно исполняют. И это куда важнее, чем духовная жизнь твоих подруг, которые строят из себя невесть что, а на деле — обычные пустышки, — перешёл грань дозволенного Антон, потому что хаять подруг было категорически нельзя.

— Значит, я тоже — пустышка.

— Ты это сама сказала...

— А ты не забыл, кто тебя сделал известным и модным? Кто тебе организовывал персоналки и заказы у влиятельных людей, кто через друзей и подруг всячески тебя пиарил? Животное ты неблагодарное!

И следом за этой фразой в Антона полетела тарелка из какого-то дорого сервиза, он ловко поймал её, натренировавшись на пластмассовых, которые перекидывают друг другу на пикниках и на пляжах, поставил на стол, а Алиса опустила в кресло и зарыдала. Антон молча затолкал в сумку несколько пар носков, футболок и трусов, протёртые до дыр джинсы, взял ключи от машины и вышел из квартиры.

Пятьсот с лишним километров он проехал с двумя остановками на заправках — долить бензина и взять кофе. В одном из магазинов на пути в деревню купил десять бутылок явно палёной водки, кусок какой-то твёрдой колбасы. Хотел заночевать в стоящем на обочине мотеле, но понимал, что если остановится, застрянет до конца запоя, потому что собрал все силы воли и дотянул до дома. Приехал далеко за полночь, ещё не открывая ворота, открыл бутылку,

прямо из горлышка выпил половину, потом заехал на заросшую по пояс лужайку у крыльца, допил остатки, занёс «боезапас» в дом, сел к столу и задумался. Хмель быстро ударил в голову, и больше он ничего не помнил.

* * *

Проснулся уже около обеда, допил остатки. Захотелось снова свалиться спать, но твёрдо решил сначала сходить на погост, потом завернуть в магазин к Татьяне, затовариться, чтобы вечером посидеть с другом детства Пашкой. Из запоя надо было выходить медленно. Могилы отца и матери кем-то были прибраны, трава выколота, оградка покрашена. Антон немного постоял, держась за металлические прутья, и пошёл обратно в деревню. В магазине равнодушно скользнул взглядом по худенькой девушке в чёрном платке, подошёл к прилавку напротив спиртного, уставился в скудное разнообразие бутылок и этикеток сельского магазина.

— Может, не надо больше, дядя Тоша?

Повернул голову в сторону девушки.

— Вы меня не помните? Я Лариса, дочь Павла Теканова.

— Извини, не узнал! Я же тебя сколько лет не видел! А как Пашка? Я же к нему, чертяке, собрался.

— А нету больше папы. Вы ничего не знаете? Ну, конечно, у меня же не было вашего номера телефона, а папин разбился вдребезги. В сентябре год будет, как они погибли. И папа, и мама, и мой муж, вы его не знали — он не местный, и наш маленький Василёк. В машине из города возвращались, и залетели под фуру. Ни от кого живого места не осталось.

И девушка заплакала.

— Извини! Я действительно не знал.

Антон хотел сказать про соболезнования, но засомневался, насколько уместны будут эти слова почти через год после смерти.

— Похоронены здесь?

— Да, с противоположного края от ваших родителей.

— Дай тогда хоть чего-нибудь, схожу, помяну друга.

— Дядя Тоша, не пейте больше... Хотя бы в память о папе. У него тоже запои бывали, я знаю, как тяжело выходить... Он ведь и в тот раз нетрезвый был... Ну, когда под фуру залетел... А на кладбище я с Вами вместе завтра схожу. И к вашим заодно зайдём. Я там порядок навела, как чувствовала, что вы приедете.

— Так это ты? А я думал, кто это постарался? Пашка что ли?

— Я на Троицу у своих прибиралась, заодно и у Ваших...

— Тогда я домой... Не укладывается в голове — как это так, Пашки нет... Дай хоть маленькую... Я чуть-чуть... только помянуть.

— Дядя Тоша, вы сейчас себя обманываете — не получится чуть-чуть. Я по папе знаю. Вы идите домой, я вам поесть принесу и чаю. Вы когда последний раз ели?

— Не знаю... Наверное, в городе.

— Вот, а у меня борщ сварен. И чай из трав сделаю, каким папу отпаивали. Я быстро. Магазин закрою, всё равно вряд ли кто уже придёт, и к вам.

— Да перестань ты выкаты, мы с твоим отцом с детства не разлей вода, а ты выкаты.

— Вы такой известный! Папа всё время гордился, что вы — друзья. Всегда Вас вспоминал, особенно, когда выпьет. И всё говорил, что Вы обещали его портрет нарисовать.

И девушка застенчиво улыбнулась.

— Виноват, не сдержал слово. Кто ж знал, что так случится? Да-а! Ничего нельзя откладывать на потом...

С трудом передвигая ноги, Антон дошёл до дома, хотел убрать с пола пустые бутылки, но сил уже не было. Рухнул на диван и уставился в потолок.

— Эх, Пашка, Пашка! Как же так?!

Звонить другу детства он не мог, потому что в деревне не было мобильной связи, а писать письма и отправлять их почтой в конверте он считал пережитком прошлого. Антону было достаточно знать, что на его родине есть друг, с которым он связан, как пуповиной, что этот друг понимает его даже без слов, и потому, особенно во время пьянок, он мысленно разговаривал с Пашкой, выкладывая в этих диалогах самое сокровенное, что не рассказал бы никому в жизни. Впрочем, он не говорил этого и Пашке во время их задушевных бесед во время его почти ежегодных наездов в деревню. И вот теперь Пашки больше нет... Лариса действительно пришла очень скоро и стала распаковывать сумку, в которой, завёрнутая в байковое детское одеяльце, была кастрюля с борщом и термос с чаем из трав.

— Вот кушайте на здоровье! Я разогрела, сметанки положила. Не знаю, Вы со сметаной любите или с майонезом. Подумала, что раз деревенский, значит — лучше со сметаной.

— Спасибо, но я совершенно не хочу есть.

— Надо, дядя Тоша. После борща Вам сразу полегчает. Хорошо бы капустного рассола, но где его сейчас взять?

Есть борщ не получилось — руки у Антона дрожали так сильно, что содержимое ложки тут же выплёскивалось обратно в тарелку.

— Давайте, я Вас покормлю, — Лариса села рядом, отняла у Антона ложку и начала его кормить, как ребёнка.

— Если бы ты знала, как мне стыдно!

— Ничего страшного, с папой точно так было, но завтра всё будет нормально.

Антон послушно открывал рот, жевал и поминутно вытирал обильно потеющий лоб.

— А теперь — чай. Травы ещё мама собирала. Вы же знаете, что бабушка у нас травницей была, вот она маму и научила. Пейте-пейте, настой уже не горячий. Он хорошо успокаивает, будете спать как младенец.

Сказав младенец, девушка, до сих пор не смирившаяся с потерей сына, смахнула накатившую слезу.

— Спать я теперь ещё двое суток не буду.

— Будете-будете... Уж я-то знаю. Сейчас я вам постель приготовлю.

Она раздвинула занавески, прошла в другую комнату и вскоре вернулась:

— Там же затхлое всё от сырости. Это же всё на солнце просушить надо.

А вы где спали?

— Не знаю... — честно ответил Антон. — Проснулся на полу.

— Так! Идёмте к нам. Я вам постелю на родительской кровати. Знаете, я ведь туда захожу только уборку сделать. Я первое время вообще домой боялась заходить, в магазине и жила, пока бабушка Мокеевна мне какой-то заговорённой воды не дала.

Антон долго упрямылся и не хотел идти в Пашкин дом, но Лариса оказалась девушкой настырной. Поскольку Антон шёл, заметно покачиваясь, Лариса взяла его под руку. Так они и прошли почти по всей улице, вызвав пересуды односельчан.

— Наконец-то Лариска себе мужика завела, — говорили одни, жалея убитую горем красивую девушку.

— И года в трауре не проходила, — осуждали другие, не узнавая приехавшего домой Антона, хотя слух, что в ограде у Семёновны стоит чья-то машина, а самих гостей не видеть, уже наутро без всяких соцсетей разнёсся по всей деревне.

* * *

— А помните, вы меня в детстве называли Лариска-ириска?

— Конечно, помню.

— Мне это так нравилось! Я потом спрашивала у мамы, почему больше никто меня так не называет, а она смеялась и говорила, что это — авторское дяди Тоши.

Лариса быстро застелила постель.

— Ложитесь.

Антон лёг на кровать, и потолок сразу поплыл было в сторону, но тут же остановился.

— Лариска-ириска, посиди со мной. Расскажи о себе.

— А что о себе? Ничего интересного! После школы поступила в университет, на первом курсе выскочила замуж, родился Василёк, жить было негде — приехала с мужем домой. Он устроился к папе на лесопилку. Вот и вся моя биография. Вы лучше о себе расскажите.

— У меня, Лариска-ириска, всё настолько скучно, что рассказывать не интересно.

— Как же не интересно? Вы же всё время с художниками общаетесь, с артистами, с поэтами, в театры ходите... Там же богема!

— Богема, говоришь? Да уж, богема! Искренности там нет, и это главное. В глаза тебе дифирамбы поют, работы твои нахваливают, а за спиной любую гадость смакуют. Зависть там, непонятная злоба и самолюбование.

— Дядя Тоша, вы не бредите? У вас не температура?

Девушка положила ладонь на потный лоб Антона.

— Не убирай, пожалуйста...

И через несколько минут Антон заснул. Девушка долго сидела, боясь снять руку, чтобы не разбудить гостя, а потом незаметно и её сморил сон. Она, сидя на стуле возле кровати, положила голову на подушку и отключилась.

Проснулся Антон уже засветло. Рядом со своей головой увидел на подушке голову спящей Ларисы. Один локон вьющихся густых волос девушки выбился из-под платка и щекотал ему щёку, а её ладонь так и продолжала лежать у него на лбу. И было это так трогательно! Последний раз на его голове много-много лет назад вот так же лежала рука матери, когда он метался в бреду от высокой температуры, которую почему-то не могли сбить никакие таблетки. От воспоминаний на душе разлилась благодать, и Антон невольно заулыбался. Он долго лежал, не шевелясь, боясь разбудить сидящую у изголовья Ларису, но вот она проснулась сама, испуганно дёрнулась, убрала ладонь со лба Антона, заправила под платок волосы.

— Извините!

— Спасибо тебе! Ты настолько милая...

Антон чуть не сознался, что ему захотелось поцеловать девушку, но вовремя прикусил язык.

— Как вы себя чувствуете?

— Как в раю. Сплошное блаженство!

— Я сейчас ещё чаю травяного заварю, и будет ещё лучше.

— Не надо, мне и так хорошо.

— Не спорьте, я лучше знаю.

В этой категоричности тоже было что-то милое и наивное. Что могла знать эта двадцатилетняя девушка о похмельном состоянии человека вдвое старше её и пережившего не меньше десятка подобных и более затяжных запоев? Антон улыбнулся и внимательно, трезвым взглядом посмотрел на девушку. Она была сама прелесть. Природная красота без макияжа, теней, туши, помады и других женских хитростей делали её настолько очаровательной и желанной, что стоило немалых усилий отогнать прочь плотские мысли. У него бывали интрижки, мимолётные романы и с девушками помоложе. Восторженные девочки из колледжа искусств или института культуры легко запрыгивали в постели художников в надежде на покровительство или просто ради развлечения в богемном кругу с умными разговорами и выпивками. Были кратковременные романы на два-три раза с дамами так называемого «высшего света», которые заказывали ему свои портреты. Эти маялись от скуки, и флирт с художником просто помогал скрасить время.

Лариса навела порядок в его доме, просушила на солнце постель, застелила её чистым бельём, и теперь Антон ночевал там, но практически целыми днями делал что-то по хозяйству в Пашкином доме. Ему по душе была эта роль заботливого мужчины, тем более, что топор, пилу и молоток он умел держать в руках с юности, когда скоропостижно скончался отец, и все мужские дела легли на его плечи. И хотя у Ларисы был немалый запас дров, договорился с мужиками на лесопилке, и они привезли ему машину берёзовых хлыстов. Бензопила у Пашки в сарае была, и Антон распилил, а потом расколочил и сложил в поленницу дров ещё не меньше, чем на две зимы. Он уже не знал, что бы ещё сделать, но нужно было ехать в город, где оставались некоторые обязательства перед заказчиками. Лариса Антону конечно же нравилась, но она была дочерью его погибшего друга, и эту черту он переступить не мог. Она тоже видела в нём не только друга погибшего отца, лишённая мужской ласки, ждала от него каких-то действий, но сама старалась не провоцировать, не сделать этот шаг на сближение. Уезжать не хотелось, но за ужином сказал:

— Ну, что, Лариска-ириска, пора мне и честь знать.

Он полагал, что расставание будет трудным, но не ожидал, что девушка сразу расплачется. Антон обнял Ларису, стал вытирать катившиеся по щекам слёзы, гладить волосы... Эту ночь они провели вместе, а утром Антон сходил за машиной, подъехал прощаться.

— А вы ещё приедете? — спросила Лариса севшим голосом. Этот вопрос дался ей с большим трудом, горло сдавило настолько сильно, что стало трудно дышать. Антон посмотрел на девушку, в её глазах была дикая боль и неизбывная тоска от предстоящей с минуты на минуту разлуки. Такой он её и запомнил.

— Конечно, приеду!

— Опять через несколько лет?

— Намного раньше, ведь теперь здесь у меня есть ты.

Антон сказал это искренне, и чтобы девушка не увидела, как у него на глазах появились слёзы, отвернулся, якобы проверить, закрыт ли багажник.

— Дядя Тоша, Вы для меня теперь самый родной человек, ведь у меня на всём белом свете нет больше никого. Вы — самый родной и самый любимый!

И девушка кинулась ему на шею, крепко обняла обеими руками и зарыдала. Потом по-старушечьи вытерла глаза кончиками платка:

— Извините! Вам пора — дорога дальняя.

Антон сел в машину, вырулил на дорогу и до самого поворота видел в зеркале стоящую у калитки Ларису.

* * *

Алиса пришла в мастерскую через несколько дней после возвращения Антона из деревни. Он как раз закончил портрет Ларисы, написанный по памяти.

— Говорят, ты уже почти неделю в городе, а дома не появляешься, — начала она вместо приветствия. — И — странное дело — абсолютно трезвый! И даже успел поработать. Ну-ка, ну-ка! Потрясающе! Мужик такой весёлый, душа нараспашку, а в глазах боль несусветная, будто что-то его давно не даёт покоя его мятущейся душе. Что-то я никогда в твоих работах такого не встречала.

— Потому что заказчикам это не надо. Им внешнее сходство подавай в каком-нибудь роскошном интерьере царских покоев.

— А это твоя новая пассия? — перешла Алиса к другому мольберту.

— Это дочь моего друга детства Пашки, портрет которого ты только что хвалила.

— Красивая! И портрет сделан мастерски! Всё же есть у тебя несомненный талант. Только лицо, никакого фона, а такая тоска в глазах героини, что самой плакать хочется.

— У неё вся семья погибла. И Пашка, и мать, и муж с ребёнком.

— На какую выставку готовишь? Не сомневаюсь, успех обеспечен потрясающий.

— Ни на какую. Отправлю самой девушке.

— Ну-ну, — равнодушно произнесла Алиса, продолжая разглядывать работу.

— А лучше отвезу сам. В сентябре как раз годовщина смерти Пашки. Надо съездить. Поживу там недельку-другую

— Ну-ну, — снова так же равнодушно сказа Алиса. — Насовсем не останься...

От двери ещё раз внимательно посмотрела на портрет, потом перевела взгляд на Антона:

— На ужин ждать?

— Не знаю. Впрочем, не надо.

Алиса ещё раз посмотрела на портрет девушки, потом на мужа и понимающе произнесла:

— Ну-ну...



«О, НЕ ПОЗАБУДЬТЕ, ЧТО НАДО БЕРЕЧЬ КРАСОТУ!»

* * *

Озорные ягнята темнеют
в зелёной траве.

Овцы рады весне, им привольно
в степи хлебосольной.

К горизонту пустому привычно
белеть синеве.

Над лошадами сокол взмывает
на вольнице вольной.

Выйти в степь мне нельзя —
поезд мчится, как будто на бой,

Будто что-то случилось
и нужно спешить до упора.

Это наша планета.
И степь эта наша с тобой.

Если мы не очнёмся,
окажемся нищими скоро.

* * *

Скоро появится озеро.
— Где ты?

Я словно друг тебе рада всегда,
Нежный Эльтон, чудо нашей
планеты,

Пусть безыскусное — соль и вода.

Я тебя розовым помню зарёю,
Это природы сюрприз и секрет.

Хочешь, от хищного взора укрою
Твой драгоценный

и редкостный цвет,
Свет твой, сокровище полупустыни?

Пусть никогда не ступает нога
Варвара, вора — запрет им отныне
На золотые твои берега.

* * *

Богаты росы, шёлковы леса,
Все вышиты черёмухой цветущей,
Тяжёлый бархат елей —
чудеса,

Нам ни за что дарованные кущи.
Не будет нас — останутся они,

Красоты, искалеченные нами.
И памятью позорной станут пни
На землях, нарекавшихся лесами,
Пустыни — где исчезнут сотни рек
С кувшинками, уклеяками, чирками.
Где хищный зверь с названьем

человек

Погибели оставил начертанье.

* * *

Какое блаженство дорога,
Какое роскошество степь!
Небес необъятная тога.
Чего ещё, друг мой, хотеть!
Полынь молодая клубится,
Озёра синеют;
вдали

Стада, как рассыпанный бисер,
пестреют...

А вот расцвели

Слепящие солнечно вишни.

Кипят в вышине облака.

Какое блаженство, Всевышний!

Сладка наша доля, сладка!

Когда окружает природа,

Когда чудодействует степь...

Хранить бы её род от рода.

Чего ещё, друг мой, хотеть!

* * *

Апрельская степь

словно ждёт акварели.

И где тот художник, влюблённый

в неё,

Чтоб всем рассказать,

как на выжженном теле

Полынь молодая осанну поёт?

Как около стада, в тепле разомлевши,

На короточках дремлет

казах-пастушок,

Как небо весёлой пучиною плещет

И тень облаков голубеет, как шёлк;

И радостно пугало на огороде
К себе проезжающих манит платком,
Искусно повязанным так не по моде,
А на горизонте белеющий дом...

* * *

О, Бэровский бугор,

ты — великан угрюмый,

Смотрящий с высоты на нищету

пустынь.

Вся в ранах грудь твоя,

исполненного думы, —

Здесь птицы гнёзда вьют

и ставит люд кресты.

А там, где мусульман могильник, —

полумесяц.

Песчанки по ночам добычу

ищут здесь.

И не десятки тонн суглинок

этот весит,

А тысячи томов о жизни — эта весь.

ВОЛГА

Ах, как матушка наша богата...

Словно белый платочек плывёт

Мимо гор Жигулёвских куда-то

В необъятную даль теплоход.

Волга — символ величия и власти,

Волга — образ размаха души.

«Ты подарена людям на счастье», —

Шелестят в берегах камыши.

Так она многоводна родная,

Как кормящая мать — в разлив,

От истока до южного края

Пол-России на плечи взвалив.

Сердце Волги сильнее столетий.

Что она не смогла пережить!

Ах, какие мы глупые дети —

Не умеем беречь и любить.

Тихо катятся гладкие волны,
Распушился туман над рекой.
Тут всегда вспоминаешь невольно
Всю Россию в лице бурлаков,

Русских женщин,
с мостков на коленях
Отжимающих в реку бельё,
Жизнь народа в трудах и болезнях
И опричников злых вороньё.

Эти птицы всё кружат и кружат,
Светлых кладбищ темнят деревья.
Сколько Родина-матушка тужит,
Сколько молятся слёзно в церквах.

Отражаются храмы и небо,
А водичка — то кровь, то слеза.
Сердце Волги по самые недра,
В полной силе увидеть нельзя.

Ах, как матушка наша богата.
Где ловец добывал осетра,
Скажем скоро: «Бывало когда-то».
Нам самим бы дожить до утра.

* * *

Невиданное диво, неслыханное чудо
К нам лебединым пухом
летит невесть откуда.
Но где же, где тот лебедь
вселенского размаха?
Его укрыло небо лазоревой рубахой.
И рукавом кровавым
утёрлось утром небо.
О, нам бы только зрелищ!
О, нам бы только хлеба!
Зачем-зачем охота на лебеда
в законе?
Стоят лебяжьим пухом
снега на небосклоне...

* * *

Мы скоро уйдём...
Оставляем вам эту планету.
Она как весна, как черёмуха
в нежном цвету.
Она и в крови, и страницу
не вычеркнуть эту.
О, не позабудьте,
что надо беречь красоту!
Когда и огонь, и коварная злоба
и пепел
Охватят пространство,
то ярче увидится вдруг,
Как хрупко красив
сотворённый не нами и светел,
И может уплыть из-под ног,
раствориться из рук
Земной этот шар...

* * *

Да здравствует эпоха примитива!
Где нанотехнологии царят,
Уходят в стратосферу небоскрёбы,
И камни рассыпают ультразвуком,
И даже кое-кто меняет пол,
Но налицо все признаки гангрены.
Мерцает исторический момент
Нечистоплотным зраком
преисподней.
И даже то, что вечно, на весах
Колеблется, подвержено сомнению.
И мозг превозносящийся изъеден
Пустившей всюду корни клеветой,
И упрощаться некуда отныне...
Да здравствует падение империй,
Которое должны мы пережить!
Да здравствует эпоха примитива!
Хотя, кто знает, это, может быть,
Аукнулось «господство»
над природой.

ЧЕТЫРЁХСОТЛЕТНЯЯ СИБИРСКАЯ САГА О ТОМСКЕ

Неутомимый, плодовитый писатель, общественный деятель, почётный гражданин Томска Сергей Алексеевич Заплавный опубликовал очередное историческое повествование «Томск изначальный» (Новосибирск: ООО «Дом мира», 2020). Книга издана при поддержке администрации Томской области. В библиографическом справочнике, посвящённом С. Заплавному (Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, книжная серия «Жизнь замечательных томичей»), указывается: писатель посвятил Томску более 30 книг и статей.

При этом замечу: родился Сергей Алексеевич в Чимкенте, до поступления в Томский университет жил в Алма-Ате, Усть-Каменогорске. После окончания университета творческая жизнь Заплавного связана с Томском. Талантливейшая писательница, супруга Сергея Заплавного, Тамара Александровна Калёнова тоже имеет самое прямое отношение к летописи истории Томска. Калёнова — автор прекрасного двухтомника «Университетская роща» об учёных Томского университета. В поэтических сборниках Заплавного я обнаружил стихотворение «Сибирь» (автору в то время было 25 лет). Излишне объяснять, какому старинному городу посвящены строки, написанные от лица человека, прикипевшего к нему на всю жизнь:

С любых широт стремлюсь всегда к Сибири,
В старинный город, вставший средь тайги,
Тебе, Сибирь, себя мы посвятили.
Тебе — непосвящённые стихи.

Станислав Константинович Ломакин (1941 г.р., село Кыштовка Новосибирской обл.) — после 7-го класса закончил училище механизации сельского хозяйства, работал механизатором. Учился в лётном училище. Закончил Томский государственный университет, аспирантуру. Более 40 лет преподавал в вузах Тюмени (1966). Литературным творчеством занимается с 1965 г., рассказы печатались в журнале «Уральский следопыт», в местной периодике. Автор нескольких книг и многих научных работ по истории философии, краеведению. Член Союза писателей России (1997). Живёт в Тюмени.

После прочтения этих строк перед моим внутренним взором пронеслась студенческая жизнь, связанная с Томским университетом («Сибирскими Афинами»), с дорогими сокурсниками Сергеем Заплавным и Тamarой Калёновой, с мудрыми преподавателями, с университетской рошей, излюбленным местом любовных свиданий. Не могу не процитировать строчки, посвящённые Томску из книги «Крылатый конь» Тamarы Каленовой и Сергея Заплавного:

На трёх холмах, на четырёх ветрах,
В краю таёжной посреди России
Стоит мой город над рекою синей,
Стоит и отражается в веках.

Каждый очерк в этой книге, в зависимости от характера жизненных обстоятельств, претендует на первенство, но в конечном счёте — они дополняют друг друга. И снова вспоминаются поэтические строки Сергея:

Слово было вначале,
Город вырос потом —
Томск, который мы любим,
Дом, в котором живём.

Это была краткая прелюдия, ностальгия на тему «Томск изначальный». В этой новой книге отражены подлинные исторические события конца XVI и 1-й половины XVII вв., происходящие в Сибири. Книга разделена на четыре части. Автор строго определяет характер вставных эпизодов, как бы в паузах дополняя многочисленные источники, уводя читателя в глубинные периоды истории Томска, Сибири, России. В России всегда существовали различные этносы, часть из них клонится к закату, другие словно застыли в своей эволюции, воспроизводя тысячелетний уклад жизни и верований.

Новый тип отношений с различными этносами в период русского заселения Сибири не сразу находил понимание в духовной жизни другого народа. Новый уклад жизни, призванный в будущем изменить судьбу коренного населения, не мог быть триумфальным шествием к цивилизационным основам бытия. Заплавный в романе показывает сомнения и в то же время стремление татарского князя племени эушта Тояна включить свои владения в состав России. Тоян, после общения с посланником русского царя Бориса Годунова Василием Фомичём Тырковым, убедил себя и своих подданных, после трёх лет размышлений, ехать в первопрестольную к царю Борису. «Если челом ему ударить, то и на Томи защитная крепость скоро стоять будет. За спиною Москвы не пропадёшь!» — принял решение Тоян.

Долгим был путь Тоян и его сподвижников до Москвы, разные мысли посещали его: не будет ли включение в состав России племени эушта оскорблением их национальных святынь? Зря волновался Тоян, Россия никогда не посягала на религиозно-духовные ценности других народов, добровольно присягавших Российской империи. Тоян после клятвы государю всея Руси Борису Фёдоровичу Годунову заявил верноподданнически — будет служить верой и правдой России и получил царскую грамоту: «Бил нам челом Томские земли князёк Тоян, чтоб нашему царьскому величеству его Тояна пожаловати, велети ему бытии под нашею высокою рукою и велели бы в вотчине его в Томи поставити город. А место де в Томи угоже и пашенных людей устроить мочно, а ясашных де у него людей триста человек». Заплавный на основании исторических документов, дошедших до нашего времени, рассказывает, кто был первостроителем Томска, какие плотницкие работы выполняли казаки, мастера строительного дела.

Автор отводит в книге целую страницу, перечисляя тех, кто и из каких волостей и губерний прибыл на строительство города, показывая — строила Томск вся Россия: «Это были люди крепкой породы — выносливые, жизнелюбивые, прямодушные, готовые воевать, если придётся, но лучше дружить, как дружился до них с «сибирцами» атаман Ермак и его дружина». Заплавным отражено, какие сложности возникали в процессе Томского становления, в период Смутного времени, природного бедствия, доходящего до трагического столкновения разных людей, различных мнений. Ощущение: трагизм выражает сущность бытия, новых отношений между людьми, требует открытости воспринимающего сознания, не связанности его с ожиданием традиционного доверия по отношению к разным этносам. «Томск, — пишет автор, — строился всего три месяца и двадцать дней — срок поистине удивительный». Разноплемянное содружество строителей увеличивалось из года в год, менялись воеводы и заводимые ими порядки. После смерти Бориса Годунова пришедших к власти самозванцев Лжедмитриев мало интересовала Сибирь, Томск. Автор старается вызвать у читателей интерес к историческим документам, ибо достоверность событий — в их естественности, правдивости. Заплавный ярко повествует о разных временах, жизненных тяготах: «Одни строили, другие ломали; одни служили верой и правдой, другие позорили имя истинных сынов отечества». Но в православных храмах Томска в судьбоносные времена творилась для «изболевшего народа» молитва: «Да устоит Русия от совращения и обмана, и расточатся самозванцы, сеющие смуту, и да бежит от лица её ненавидящие её, яко исчезнет дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако, да погибнут бесы от лица любящих Бога и родимую землю».

Прочитав молитву, представляешь лик христианского добра, для того времени христианизация повседневной жизни — вопрос жизни и смер-

ти для России. Об этом свидетельствуют реалии смутного времени. Народ, изнемогающий под бременем роковых ошибок власти, не принёс в жертву новым правителям-католикам самобытную православную духовность, сберегаемую многими поколениями предков. Читатель вовлекается в размышления автора о взаимоотношениях между историческими персонажами, в запутанную интригу.

Чтобы о земле судить, узнай —
покидают её люди или нет.
Чтобы о детях судить, узнай —
верны ли они своим избранникам.

Великое множество персонажей населяют исторический роман «Томск изначальный». Заплавный наделяет героев качествами, позволяющими им в деяниях своих и устремлениях видеть, в первую очередь, нравственные измерения поступков, вдохновляющих на добрые дела, связанных со справедливостью, героизмом, любовью к ближнему, Отчизне.

Сегодняшнему Томску более 400 лет. Сергеем Заплавным прекрасно показано, как Томск в разные исторические эпохи не утрачивает своего своеобразия, гармонии. Закончить рецензию на роман «Томск изначальный» хочу отзывом Валентина Распутина, написанным им в январе 1997 г. о «Рассказах о Томске» Заплавного и не утратившим актуальности и сегодня: «В книгах своих он — писатель-историк, писатель-краевед и всегда писатель-патриот. «Его рассказы о Томске» — художественная и увлекательная энциклопедия русского города, написанная изящно и исследовательски-глубоко. В художественных книгах, которые я знаю (в повести «Марейка» и романе «Укрепи мою память»), Сергей Заплавный показывает себя мастером тонкого и психологического письма с сибирским привкусом». Эти слова великого писателя земли русской можно отнести ко всему творчеству Сергея Заплавного.